

М. Ф. Шил

Бледная обезьяна
и другие
рассказы



М. Ф. ШИЛ

СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ

II



Salamandra P.V.V.

М. Ф. ШИЛ

БЛЕДНАЯ ОБЕЗЬЯНА

и другие рассказы

Собрание рассказов
Том II

Salamandra P.V.V.

Шил М. Ф.

Бледная обезьяна и другие рассказы (Собрание рассказов, Том II). Пер. с англ. и прим. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 105 с., илл.

В книгу вошли избранные и давно ставшие классическими рассказы Мэтью Фиппса Шила (1865-1947), мастера темной фантазии, великолепного стилиста и одного из самых заметных авторов викторианской и эдвардианской декадентской и фантастической прозы.

Все включенные в книгу произведения писателя, литературными творениями которого восхищался Г. Ф. Лавкрафт, впервые переводятся на русский язык.


«Собрание рассказов» М. Ф. Шила продолжает выпущенный издательством Salamandra P.V.V. в 2013 г. первый полный перевод цикла детективных рассказов писателя «Князь Залесский». Первый том настоящего собрания вышел в 2014 г.



БЛЕДНАЯ ОБЕЗЬЯНА

БЛЕДНАЯ ОБЕЗЬЯНА

Ни дать, ни взять, как у свиньи. — Аристофан

чера я снова стояла у озера, глядя на Харген-Холл; воспоминания подарили мне мысль описать мою жизнь в имении. Вихри морозного ветра были в ветвях и папоротниках, вороша высохшие березовые листья на южной лужайке; и ни одна птица не пела.

Когда я впервые оказалась здесь, я была молодой девушкой, надо сказать, достаточно веселой; но теперь я познала то, что никогда не забудется; и дни, и волосы седеют вместе.

Наличие в числе моих друзей пяти титулованных имен помогло мне осенью ...08 года получить место в Харгене. Я приехала вечером 10 ноября и не могу забыть странного впечатления, которое произвело на меня поместье; даже когда я очутилась в виду особняка, шум падающей воды наполнил меня ощущением жуткой мрачности — дом почти окружен холмами и утесами, с которых каскадами стекают потоки; тем вечером я разбирала не все, что мне говорили, хотя через два-три дня привыкла к несмолкаемому грохоту.

Лишь четыре дня спустя я встретилась с самим сэром Филиппом Листером — Давенпорт, старый дворецкий, сказал, что у хозяина «недомогание»; но сэр Филипп прислал мне вежливое послание с предложением немного отдохнуть; поэтому в первые дни я только знакомилась с перепадами настроений своей ученицы и бродила по имению, разглядывая все, от «спальни королевы Елизаветы» — над кроватью все еще висел бархатный щит с вышитым серебряными нитями королевским гербом — до обезьян и каскадов. Везде царил одиночество, ибо нас было не более десяти во всей огромной пустыне дома, и только иногда можно было заметить нескольких садовников или гrooms. Кухня представляла

собой зал, обитый деревянными панелями и похожий на часовню, с витражными окнами, украшенными изображениями шести геральдических щитов Листеров и Линнов, и в громадности этого зала кухарка и ее подручная казались ужасно маленькими и потерянными; и даже горничные редко посещали теперь восточное крыло, разоренное пожаром пятьдесят пять лет назад.

Утром четвертого дня, когда погода расщедрилась на бабье лето, моя ученица впервые показала мне обезьян. Их было три — пара шимпанзе и гиббон — в трех огороженных проволочной сеткой вольерах рядом с восточной линией скал, то есть примерно в шести сотнях ярдов от дома. Там, посмеиваясь и болтая в тени каштанов, они жили своей жизнью, порой разглядывая свои пупы, как восточные философы, или прислушиваясь к пению близких водопадов. В ряду вольеров имелся и четвертый, но он был пуст. Ученица сказала мне:

— Самец, который раньше жил в этом вольере, был гигантом, мисс Ньюнс, и у него было бледное лицо. Он умер за некоторое время до того, как я приехала в Харген, но его призрак является в полнолуние.

— Право, Эсме, — пробормотала я. (Ее звали Эсме Мартагон; она была дочерью маркиза де Мартагона и Маргарет Листер, сестры сэра Филиппа; девочке было в то время двенадцать лет, и она была сиротой — довольно хорошенький эльф с черными кудрями, но изменчивая, как ртуть, то подвижная и живая, то подавленная гнетущей печалью.)

— Но если я сама видела? — серьезно отозвалась она, глядя на меня своими большими глазами.

— Призрак обезьяны, Эсме? — переспросила я.

Вместо ответа она с живостью произнесла:

— Пойдемте, вы услышите!

Она повела меня через парк на север, пока мы не очутились на темной тропе с дрожащей в воздухе моросью: вблизи был один из меньших водопадов. Пробравшись по верхушкам залитых пеной скал, можно было найти за потоком темный грот, поросший очень богатой и красивой растительностью, постоянно орошаемой водой; когда я достигла вслед за Эсме этой впадины в скале, она воскликнула мне прямо в

ухо, перекрикивая тонны рушащегося вниз грома:

— А теперь прислушайтесь! Этот водопад зовется «Обезьяной».

Прошло от трех до шести минут; я не слышала ничего, кроме громкого рокота каскада, и уже собиралась сказать что-то скептическое, как вдруг раздался звук, признаюсь, немало поразивший меня — звук очень резкий и энергичный — смешок и фыркание обезьяны — звук настойчивый и требовательно взывающий к вниманию. Миг спустя он замер, но после повторился снова; на протяжении получаса звук повторялся пять раз, не совсем регулярно, но все же с известной периодичностью; я заключила, что по какой-то ничтожной причине, возможно, благодаря ветру, водный поток время от времени слегка изменял направление, отчего и слышалось это странное хихиканье.

Моя ученица крикнула: «Если вы станете и дальше ждать и прислушиваться, знаете, что с вами будет?» — а когда я спросила, что именно со мной случится, она сказала:

— Вы с ума сойдете!

— Только не я, — сказала я.

На лицо девочки легла тень, как часто бывало, и она проговорила:

— Я бы сошла, я знаю. Три дамы из Листеров и одна из Линнов впали в безумие, и среди них моя бабушка по материнской линии. Это в крови, я думаю.

Я вздрогнула! — ибо внезапно поверила ей. В моем сознании смешок каскада прозвучал злой издевкой. Я тут же встала и, взяв малышку за руку, сказала:

— Пойдем.

В конце дня, когда мы сидели вместе в так называемом «Большом зале», Эсме, мудрая не по возрасту, снова заговорила о смеющемся водопаде и попросила меня не рассказывать о нем и тем более не показывать каскад ее кузену Хаггину. Этот молодой человек, с шести лет редко бывавший в Харгене, собирался приехать на несколько месяцев из Индии и провести месяц с нами.

В тот вечер я впервые увидела сэра Филиппа Листера: он обедал с нами и миссис Уайзман в столовой главного крыла.

Нам прислуживал старый Давенпорт, ступавший неслышными шагами. Мы, все пятеро, были словно затеряны в обширной зале с окнами, выходящими на южную лужайку. Повсюду висели (или раньше висели) гобелены, и резные яковитинские столы придавали зале очень мрачную атмосферу; огонь плясал на изукрашенной коваными узорами задней плите камина, под дубовым навесом которого сэр Филипп провел со мной и Эсме десять минут, после чего удалился в свой уединенный уголок дома.

Через два дня он снова обедал с нами, и вновь на следующий день после этого; но в тот день девочка в приступе болтовни мельком заметила, что «дядя Филипп одаряет нас своим обществом с тех пор, как приехала мисс Ньюнс» — и сэр Филипп, как робкая птица, в течение многих дней после этого прятался у себя.

Я сожалела об этом, поскольку он заинтересовал меня. Он держался в высшей степени степенно, достойно и любезно. Был он мужчиной крупным и, если не красивым, то привлекающим взгляд своей оригинальной, я бы сказала, внешностью: по-актерски гладко выбритое лицо, волосы чуть длиннее, чем принято и большие, блестящие совиные глаза с полным скорбных тайн, но в то же время переменчивым и застенчиво-скрытным взглядом. Ему было, как я решила, около сорока пяти лет.

Сэр Филипп был занят написанием «великого труда» в шести томах, посвященного эпохе Древнего царства Египта (четвертая из шести династий египетских царей) и вел такой обособленный образ жизни, что прошло три недели, прежде чем я снова увидела его. Между тем, мы с Эсме ступили на тропу приключений — я называю наши занятия «приключениями», потому что моя ученица и два часа не оставалась одинаковой. У Эсме бывали приступы головной боли; бывали приступы запойного чтения, когда она набрасывалась на книги с жадностью голодного стервятника; бывали у нее припадки лени, оцепенелой сонливости, плача, горестных жалоб, приступы взбалмошности, безумной легкомысленности, жажды — вина. Что же касается ее познаний, то для такого ребенка они были удивительными, и

порой она задавала мне вопросы, на которые я не находила ответа.

В одно утро на четвертой неделе, когда она была не в духе, мы прогуливались по парку; в тот раз сэр Филипп, в виде редкого исключения, повстречался нам вне дома. Мы наткнулись на него у обезьяньих вольеров: он стоял, прижавшись лицом к проволочной сетке, и разглядывал гиббона — так пристально, что мы успели подойти совсем близко, а он все не замечал нас. Внезапно увидев нас рядом, он замер в напряженной позе, но тотчас, в своей сдержанной манере, повел себя очень приветливо и несколько минут беседовал со мной о обезьянах и их повадках. Обезьяны носили имена египетских царей: шимпанзе звали Пепи II и Хети, а гиббона Сети I; в сторону гиббона сэр Филипп покачал пальцем, произнося с игривой внушительностью: «Этот парень! Этот парень!» — но я не поняла, что он имел в виду.

Вдруг, посреди разговора, он — с некоторой неловкостью отводя глаза — предложил устроить пикник, второй завтрак на свежем воздухе, на что Эсме и я с готовностью согласились. Однако минуты через три он начал тихо бормотать: «Я должен вернуться к работе» — и ушел, к моему изумлению!

После этого он снова исчез из виду на три недели. Мы с Эсме, тем временем, привыкли проводить часы учебы в главном зале, сидя на кушетке в галерее верхнего яруса — галерее, откуда в минувшие века видны были пирующие за столами внизу вассалы; и те дни моей жизни, что я провела в этом месте, окрашены для меня теперь немалой странностью, словно память о несбыточной Утопии. Главный зал был довольно ординарным и пустым — простой потолок, простые белые стены, обшитые до половины высоты дубовыми панелями; вот только освещался он четырнадцатью огромными витражными окнами и, когда солнце светило сквозь них, старый зал превращался в царство грез... Но он ушел от меня в прошлое, как сон, и я больше его не увижу.

На тринадцатой неделе моего пребывания в Харгене — дело было в четверг, после обеда — я получила от сэра Филиппа Листера необычное послание: он писал, что поранил большой палец, и спрашивал, не соглашусь ли я «любезно

вести записи под его диктовку». Но что, спрашивала я себя, будет с Эсме? Я не хотела расставаться с девочкой! И все-таки я не могла отказать и потому вошла в тот же день в священный чертог. Он, с рукой на перевязи, мгновенно вскочил с потоком извинений, осыпая меня тысячами пылких и одновременно застенчивых благодарностей; но наконец робость взяла верх, и он внезапно замолчал, оборвав себя. Затем я устроилась за старым аббатским столом, он же на старинном фермерском диване с высокой деревянной спинкой; закрыв глаза, он начал негромко диктовать — что-то о Хуфу, Хефрене и реликвиях «века пирамид», пока мне не стало казаться, что и сам он родом из Древнего Египта, как и я; и были минуты, когда я не сумела бы сказать, в какой эпохе от сотворения мира мы находились. В разгар диктовки он неожиданно, с силой зажмурив глаза, прижал левую ладонь ко лбу, как будто устал или запутался, после вскочил и забормотал: «Спасибо! Спасибо!», протягивая мне руку. Его движения иногда отличались поразительной быстротой и внезапностью; рука, к которой я прикоснулась, была холодна, как снег, и я поспешила покинуть его.

Той ночью я, как обычно, вскоре после одиннадцати направилась в свою комнату, расположенную в достаточно отдаленной и пустынной части дома. Вскоре я уснула. Спустя два часа я проснулась в ужасе — я не могу точно назвать причину, но я так испугалась, что нашла себя сидящей в кровати, а в ушах моих звенел странный звук или воспоминание о странном звуке, услышанном во сне; я вся дрожала, и пот выступил у меня на лбу. Из двух открытых окон лился свет полной луны, ложась полосами на пол и освещая гобелен справа от меня; я слышала, как ночной ветер утрюмо вздыхал в листьях кедра, отдельные ветки которого, подвязанные цепочками, касались моих окон. Несколько минут я сидела неподвижно, слыша биение своего сердца, шорох дрожащих ветвей, плеск воды, само безмолвие дома и ночного часа; я чувствовала и словно видела, как вокруг меня парит некий живой дух. Продолжайся это долго, я, вероятно, потеряла бы сознание или криком отогнала видение; но вот я что-то услышала — смешок, радостное хихиканье, тихое, на

границ слышимости, но достаточно отчетливое, убедительно доказывающее, что то был не обман слуха; и я мигом, чувствуя холодок в волосах, но с какой-то яростью и отчаянием кинулась к окну, поскольку сразу вслед за смешком я расслышала шуршание в листве кедра.

То, что я увидела, заставило меня упасть в обморок — в тот же миг или через несколько секунд, сказать не могу; я лишь знаю, что пришла в себя, сидя на полу и прислонившись лбом к старому дубовому креслу, а башенные часы отбивали один за другим три удара. Но как быстро я ни упала бы в обморок, произошло это не мгновенно, и я не могла питать малейших сомнений в реальности увиденного. Хотя лунный свет не проникал в глубь листвы и отдельные участки ее оставались темными, я была уверена, что видела какую-то разновидность обезьяны с бледным лицом, висевшую на кедре — висевшую вниз головой в паутине цепей и веток, что позволяло ей заглянуть ко мне в комнату; и у меня сложилось впечатление, что я слышала — либо до того, как упала в обморок, либо пребывая без сознания — череду щелкающих смешков, а потом далекий голос, увещающий, молящий, приказывающий, как своего рода тайный зов, а после — сдавленный крик ужаса и боли, и все это растворялось в сне о хихиканье смеющегося водопада.

Но самым сильным из моих впечатлений, несомненно, был этот резкий крик ужаса — впечатление настолько сильное, что я с трудом могла счесть его сном, как и все происшествие в целом. Каким-то образом крик в первую очередь связывался у меня со старым Давенпортом; позднее это чувство окрепло во мне: Давенпорт нигде не показывался ни на следующий день, ни еще четыре дня.

Миссис Уайзман, наша экономка, которая еще долго оставалась бледна и иногда смотрела в пространство пустыми глазами, сказала мне, что Давенпорт «нездоров». Она не задавала мне никаких вопросов о ночных событиях, но дважды я поймала ее пронизывающий взор, устремленный на меня с пытливостью и тревогой; то же было справедливо и в отношении сэра Филиппа: три дня спустя, ближе к вечеру, он появился и взял меня за руку с нежной заботливостью, за-

держав на мне вопросительный взгляд. Что же касается Давенпорта, то в следующий раз я увидела его под деревом в парке, где он сидел с видом человека, выздоравливающего после тяжелого недуга; по его лицу разливалась жалкая бледность плоти пожилых людей, прошедших через болезнь, а бинты вокруг шеи не могли полностью скрыть от меня жестоких царапин на горле.

В те дни казалось, что на Харген обрушилось несчастье. Эсме больше не смеялась, и все мы разговаривали приглушенными голосами. Было очевидно, что каждый держал в сознании секрет, которым не осмеливался даже шепотом поделиться с другими; я тщетно целые дни терялась в догадках, пытаюсь постичь значение происходящего. Сама я тоже страдала и с трудом держала себя в руках. У меня проскальзывала мысль сменить комнату, куда я теперь боялась войти даже днем, но мне не хотелось открыто показывать свой страх. По ночам у меня горела лампа, и нервы оставались натянуты даже во сне. Я никогда, мне думается, не могла пожаловаться на излишне нервический темперамент, но в те дни ужас скрывал меня, как немочь, в воображении я продолжала видеть взгляд жутких глаз в ночи, и Харген вскоре превратился в моем истерзанном сердце в истинную обитель мрака. И затем, в один прекрасный день, душевная тяжесть покинула меня, исчезла, как тень, и все мое существо устремилось к радости, отвергающей всякую мрачность, и я забыла, что можно чего-либо страшиться в темноте.

Я расскажу об этом очень кратко. Однажды мы с Эсме, обе вялые, сидели после обеда в верхней галерее, а между нами лежала без дела открытая грамматика; и вдруг точно из-под пола возник молодой человек и закрыл ладонями глаза Эсме, тем временем улыбаясь мне. «Кузен Хаггинс!» — вскричало дитя с немалым удивлением, так как Хаггинса Листера ждали в Харгене лишь через несколько дней. Он поднял девочку большими руками и звонко поцеловал, ибо был весь создан из страсти, баловства и шуток; и затем он заглянул в мои глаза, а я посмотрела ему в глаза.

Я будто всегда знала его — задолго до того, как родилась; я словно угодила в водоворот и погрузилась в него тем быст-

рее и глубже, что на следующий день после той первой встречи Эсме слегла с простудой и я осталась наедине с Хаггинсом Листером в дебрях Харгена. Молодой человек интересовался или делал вид, что интересовался стариной, и заставил меня показать ему все кассоне и старинные кружева, и поблескивающие золотом испанские подзорные трубы, и жирандоли с их купидонами. Он обедал со мной; мы были вдвоем, мы и миссис Уайзман, поскольку сэр Филипп даже более подчеркнуто, чем обычно, держался особняком. Только в четвертый вечер, когда мы с Хаггинсом Листером гуляли по парку, сэр Филипп внезапно предстал перед нами; он стремительно вышагивал в противоположном направлении и не остановился, не издал ни звука, когда проходил мимо нас с опущенной головой и приподнятой над нею шляпой; но, отойдя от нас на некоторое расстояние, он остановился и — погрозил нам пальцем. Он собирался, я уверена, что-то сказать, но не смог выдать из себя ни слова и вновь быстро зашагал прочь. Помню, что в ту минуту я почувствовала себя крайне оскорбленной, но миг спустя, да простит мне Бог, позабыла о существовании сэра Филиппа Листера.

Я показала молодому человеку обезьян, и спальню королевы, и все каскады, кроме одного, и инкрустации из слоновой кости на двух испанских сундуках, и тюдоровские каминны, и все то, что находилось в «длинной галерее», а ему всего было мало. На площадке главной лестницы, под окном, стоял ярко раскрашенный портшез, и витражное стекло отбрасывало на и без того безвкусную роспись цветные безвкусные отблески шести гербовых щитов Листеров-Линнов; в этот портшез он заставил меня усесться — в середине дня, на открытой лестнице — однако мы были там одиноки, как в монастыре под покровом ночи, и вся эта пустыня Харгена точно обманом увлекла, предательски направила нас к уготованной нам судьбе; он усадил меня, как я сказала, и затем, пленив меня таким образом в портшезе, стал с рыданиями выплескивать мне свою страсть; и когда я отвернула лицо из жалости к нему, упавшему в страсти на колени, и пролила одинокую непрошеную слезу, молодой человек сорвал поцелуй с моих губ, тогда же и там же, в портшезе. Я

ничего не могла поделаться, ибо Хаггинс Листер пришел, увидел и победил меня, и я была словно одурманена медвяной росой и танцевала, одурманенная, в объятиях Хаггинса Листера.

А он был убедителен, как ураган! он безумно торопил с женитьбой: так безумно вальсируют змейки песка, сливаясь воедино с приближением песчаной бури. Через шесть месяцев, сказал он, все будет устроено и брак наш будет провозглашен; а покамест мы должны держать все в тайне и жениться немедленно! Я притворилась, что противлюсь его тирании, но сопротивление мое было нерешительным и мне, конечно же, ничего не помогло: он был мне дорог и близок и держал меня всю в своих руках и сердце. И вот однажды утром я украдкой выбралась за ворота Харгена и встретила с ним в одном доме в городке Сент-Арвенс, месте нашей свадьбы; но, когда мы, уже супругами, выходили из дверей того дома, мое сердце тревожно сжалось — менее чем в десяти ярдах от нас шел сэр Филипп Листер. Да, он, никогда не покидавший имение, был прямо передо мной, на улице Сент-Арвенса — он постукивал своей дубовой тростью, удаляясь от нас и, казалось, не подозревая о нашем присутствии; однако мне одновременно показалось, что он на миг повернул к нам голову с посеревшим от волнения лицом; и сердце мое, пылавшее жаром, вздрогнуло, словно от дуновения смертельного холода.

Я вернулась в Харген замужней женой, пошатываясь, как во сне, и чувства пьянили меня в тот день, как вино, ибо я принадлежала возлюбленному и он мне; как я провела этот день, сказать не могу, ибо небесное упоение было для меня внове; помню только тщетные попытки скрыть от Эсме свое состояние — она недавно оправилась от болезни, и я механически занималась с нею, и была сурова с любимым, отказывая ему в своем обществе до вечера, и даже тогда рано отошла ко сну, оставив его вздыхать.

Дверь в спальню я забаррикадировала стулом — свадебное ребячество, так как, чтобы обезопасить комнату, мне следовало бы ее запереть. Я долго лежала без сна, глядя на сияние полной луны, и наконец, изнуренная картинами днев-

ного сна наяву, ненадолго задремала.

Меня пробудил рев, и я надеюсь, что подобный звук никогда более не призовет меня своим трубным гласом. Я поняла, что какая-то несчастная душа попала в беду и из бездны горя и ужаса отчаянно зывала к Господу; и, спустив ноги на пол, я в мгновенном порыве преклонила колени, громко восклицая: «Боже Всемогущий, охрани мою любовь от зла в этой обители ужасов». Миг спустя я набросила на себя халат, схватила подсвечник и выбежала в коридор.

Пока я бежала, пытаясь зажечь свечу, моего слуха достиг, как мне почудилось, донесшийся откуда-то тихий, низкий смешок, похожий на смех шакала над падалью; я так испугалась, что мои пальцы задрожали и никак не могли поднести спичку к фитилю свечи. Когда огонек стал обжигать кожу, я отбросила спичку. Все еще на бегу, я зажгла другую — точнее, попыталась зажечь, ибо в ту секунду, когда спичка занялась от трения, я увидела — или непонятным образом почувствовала — что рядом со мной находится какое-то обезумевшее, чудовищное животное; в тот же момент спичка погасла или, быть может, огонек ее был задут, и что-то холодное, как лед, прикоснулось ко мне. Я ощутила тогда боль, всю боль ужаса и тьмы, и застыла без движения. Но через несколько секунд, думаю, я уже снова неслась по коридору; подсвечник я где-то выронила и потому не видела, что дверь в конце коридора, которую я ожидала найти, как обычно, открытой, была закрыта — и с силой ударилась о нее. Дверь оказалась не только закрытой, но запертой на ключ! Обнаружив это, я, стоя перед запертой дверью, вложила все силы души в крик. «Хагтинс! Сэр Филипп! Давенпорт! Хагтинс!» — кричала я; после я замерла, слыша журчание потоков, текущих, как в вечности, сквозь молчание ночи, и громкий стук сердца под ребрами — но ответа не было.

Удивляться, возможно, было нечему, так как моя комната, как я упоминала, находилась в уединенной части особняка; я стояла, парализованная страданием, ожидая, что в любой миг на меня ринется нечто и я от страха упаду бездыханной. Тишина продлилась, вероятно, с полминуты, а

после за дверью послышался гулкий звук — словно по лестнице волокли вниз что-то массивное и оно билось о ступеньки — бум! бум! бум! В моем одиночестве, в ужасном мраке, звук показался мне таким торжественным и таинственным, что я вскоре не смогла оставаться на месте, с этой болью, и, даже не осознав, что делаю, внезапно оказалась за окном, пробираясь к соседнему окну по карнизу на высоте пятидесяти футов. Карниз имел в ширину не более фута, мне кажется, и я не в состоянии теперь сказать, как я отважилась выбраться на него и почему упала. Прижавшись к стене — и все время чувствуя в воздухе морось, взметаемую сильным ветром, ощущая вокруг ночь, полную дикого лунного огня — я ступала, трепеща, по тонкой пелене снега на головокружительной высоте, подавляя плач, пока не достигла соседнего окна; и там, бросившись внутрь, я разразилась рыданиями и, оказавшись в безопасности, потеряла сознание. Я все еще слышала, однако, грохочущий звук, уходящий все ниже — и, когда он раздался у подножия лестницы, я очнулась, найдя в себе бесстрашие пойти следом.

Я стала красться вниз, осторожно, пригнувшись, ступенька за ступенькой. На полпути я услышала, как по полу внизу что-то проволокли. Я продолжала спускаться. Звук сделался глуше, удаляясь в дверной проем, и я знала, что это за дверь; но, когда я направилась туда, моя голая пятка наступила на что-то холодное, и я споткнулась и упала сверху. Я застонала от жалости к себе: было ведь так темно, и я так страдала. И однако, когда я падала, я услышала, как в спичечном коробке перекатились спички — я все еще держала коробок в руке, не сознавая этого; и меня потянуло зажечь спичку. Прошло некоторое время, прежде чем я решилась и смогла, а когда смогла, увидела тело старого дворецкого в ночном белье, распластавшееся передо мной на полу; по выражению его глаз я поняла, что они никогда больше не увидят света дня.

В тот же миг где-то хлопнула дверь, и я вновь поняла, какая: маленькая боковая дверь у входа в кухню, ведущая в северную часть парка; и снова что-то придало мне силы и подняло на ноги, побуждая идти туда. Я пробралась к ма-

ленькой двери; отворила ее; мои голые ноги ступили в снег. Перед собой, на короткой гравиевой дорожке, уходящей на север в парк, я отчетливо увидела бледную обезьяну, прижатую к груди человеческое тело. Вскоре она опустила свою тяжелую ношу и склонилась над ней с ужасным бормотанием; и когда я увидела это, что-то заставило меня наклониться, поднять камень и запустить им в зверя.

Камень попал прямо в голову.

Через несколько секунд существо поднялось и побежало на подкашивающихся ногах в темноту парка.

Шатаясь, я добралась до тела и увидела, что то был Хаггинс Листер — задушенный; и над телом возлюбленного я лишилась чувств.

Я пришла в себя только в десять утра; я лежала на кровати; с одной стороны сидела Эсме, с другой миссис Уайзман.

Последняя смотрела застывшим взглядом; и по тому, как Эсме улыбалась, склонив головку набок и раз за разом пересчитывая свои пальчики, я поняла, что дитя утратило рассудок.

Я лежала неподвижно, ничего не говоря; мне было все равно.

Вошла горничная по имени Берта и пробормотала: «Его еще не нашли». По нескольким словам, тихо произнесенным в ответ миссис Уайзман, я заключила, что сэр Филипп Листер исчез.

Мне было все равно; я лежала неподвижно и утрюмо, смежив веки.

Около полудня снова пришла весть, что люди, разыскивавшие сэра Филиппа Листера, даже не смогли обнаружить его следов; но примерно в пять вечера он был найден умирающим в скальном гроте за водопадом, который называют «Обезьяной». Его принесли в дом.

Вскоре после этого миссис Уайзман, которая ранее покинула комнату, вбежала с заплаканными глазами, умоляя меня хоть минуту провести с умирающим сэром Филиппом, жаждавшим в последний раз увидеть меня; я позволила ей накинуть на меня какую-то одежду, и она повела меня к

смертному ложу.

К тому времени я уже знала — миссис Уайзман, обливаясь слезами, днем мне все рассказала — что мать сэра Филиппа Листера слишком часто и долго прислушивалась к смеющемуся водопаду и потому родила сына таким, каким он был — а был он существом, способным при малейшем волнении сбрасывать с себя человеческий облик и принимать обличие зверя, и вместе с человеческим обликом сбрасывать с себя одеяния в смертоносном вихре ночных радостей — подумать только, он, который был в моих глазах столь совершенным в своей кротости, столь застенчивым, столь степенным! И тем не менее, я содрогнулась до глубины души, когда он коснулся моей руки и проговорил, задыхаясь, сквозь клекотавшие в горле хрипы агонии: «Я очень вас любил». Быть может, содрогание то спасло меня от смерти или безумия, ибо я вскоре впала в глубокую апатию. Была почти ночь, и свет там был тусклый, но я все же могла видеть мех на теле чудовища: волоски были значительно больше дюйма в длину, зеленоватые и жесткие, как у гориллы. Они охватывали его горло и запястья четкими кольцами, как меховая шуба; поросль эта к горлу и запястьям не редела, но была такой же густой, как везде, и словно бы резко обрывалась.

Но он очень любил меня, и теперь я люблю его тоже, ибо, если он и питал губительную ревность, эта ревность порождена была любовью ко мне; умирая, он глянул мне в глаза человеческими глазами, добрыми и кроткими, говорящими: «Я очень вас любил» — и когда с последним вздохом он указал на рану, туда, где брошенный мною камень пробил его череп, я обрела голос и возрыдала пред Господом о нем, и о себе, и о Харген-Холле, и обо всем, не сознавая более, что зарылась лицом в мех на его ужасной груди. И он умер, и Хаггинс Листер умер, а я осталась жить.

ИСТОРИЯ ГЕНРИ И РОВЕНЫ

ИСТОРИЯ ГЕНРИ И РОВЕНЫ

*Р*еди Ровена Ховард ди Исте была замужем уже десять месяцев, когда — *вновь* — пути ее и лорда Дарнли пересеклись.

Это случилось в опере Палли, где ее оперный бинокль, скользя по противоположному ряду «дворянских лож», остановился на мертвенно белом лице и высоком лбу Дарнли, позволив ей увидеть, что и *его* бинокль был устремлен на нее; обмен взглядами через окуляры продолжался несколько мгновений, пока она, внезапно побледнев, не наклонила немного голову.

Когда она выходила из театра, человек в костюме белого медведя (секретарь Дарнли) ухитрился бросить ей в сложенный зонт визитную карточку с написанными словами «Можем ли мы встретиться? У Мета Суданс» — время близилось к восьми часам вечера, и звон Постного колокола вскоре должен был означить закрытие всех театров, открытых с десяти утра в этот вторник, последний — и самый безумный — день карнавала, день *barberi* и *moccoletti*, и град карнавала взмывал к небесам. Ибо сейчас град тот стал сплошным умопомрачением, в воздухе висел дым ракет, экипажи с боковых улиц сворачивали на Корсо, в толпу домино, пьеро, маркиз, пастушек — хаос вздетых рук, криков, состязаний, цветов.

Но Ровена откинулась в своей коляске, не принимая участия в этих увеселениях — дама со статным и томно расслабленным телом и пухлыми губами, горевшими алым на бледном лице; узел угольно-черных волос и изгиб горла придавали ей некоторое сходство с созданиями из грез Россетти. Когда Дарнли стоял рядом с нею, было заметно, что он ниже ее на дюйм.

Ее экипаж проехал по виа Урбана к Колизею, и лорд Дарнли выступил из тени места свиданий.

— Вот видите, мы встретились.

И она пробормотала:

— Как странно.

Они подошли к арке вомитория; руины мрачно раскинулись перед ними.

— Итак, вы все еще повсюду? — спросила она, улыбаясь.

Он ответил:

— Я путешествую. Хотя мы и души, согрешившие в ином мире, а земля — наша тюрьма, мы все же можем счастливо бродить по ней.

— Ах, это скорбное настроение... Вы обещали, что будете счастливы, Генри.

— А вы?

— Я вышла недавно замуж за старика, который говорит об одних акциях и облигациях. Но есть и свои утешения.

— Какие же?

— Богатство, солнце, карнавал.

— За карнавалом следует Великий пост, — отметил он.

— Но перед Великим постом — карнавал! — коротко рассмеялась она.

И он:

— В вас появилась приземленность. Влияние мужа?

— Может быть.

— Нет, простите меня: я знаю, что вы не могли измениться. Вы всегда остаетесь собой.

— Надеюсь, я все то, что вы во мне видите... Лицо, однако, не всегда отражает личность человека. Самая неземная красавица, какую я когда-либо встречала, держит в Севилье папиросную фабрику и страдает слабоумием.

— Я никогда не оценивал вас по лицу, — сказал Дарнли, изучая это лицо с опущенными ресницами, — но по себе: вы мой двойник — или были им раньше.

Комплимент заставил Ровену смущенно потупиться.

— Ну, если вы так говорите... Я — надеюсь — что это правда. Вы скорее производите впечатление какого-то существа с Олимпа, нежели человека; в отношении же себя я начинаю опасаться, что я — по большей части женщина.

— «Олимпийские существа», безусловно, не ведают кожных заболеваний, — с улыбкой ответил он.

(Пять лет тому, накануне ожидавшегося брака с Рове-

ной, Дарнли провел три дня в Исландии, средоточии проказы, и после на его левой руке появились три узелка лепры, превратившие его в изгоя.)

— Вы еще не поправились? — спросила она.

И он ответил:

— Моя болезнь неизлечима.

— Увы! И моя, Генри, — сказано это было, возможно, с большей печалью, чем она чувствовала на самом деле.

— Я здесь, чтобы излечить вас и меня.

Она с сомнением посмотрела на него при свете только что взошедшей луны, удвоившей громадность развалин и коснувшейся черт Ровены колдовской и романтической кистью.

— А лекарство — все то же, прежнее? — спросила она, улыбаясь. — Рандеву в великом Нигде?

— Там, где души действительно встречаются, — сказал он.

Несколько мгновений она стояла, задумавшись, прислушиваясь к далекому гулу карнавального вихря, едва слышному здесь.

— И вы *все еще* верите, Генри, в существование души, загробной жизни?

— Душа существует, как и загробная жизнь. Вы не верите?

— Верю, если вы так говорите.

— Говорю. Я знаю это уже семь лет. И *снадобье существует.*

— Искуситель, искуситель.

Дарнли все время играл в кармане с двумя пузырьками, с которыми почти никогда не расставался; и теперь он сказал:

— Вы согласны?

— Генри, у меня есть — привязанности...

— Как видно, вы перестали... любить.

— Ах!

— Значит, вы согласны. Скажем, в полночь?

— О нет, я... Хотя бы дайте мне время.

— Сколько?

— Месяц.

— Где?

— В Неаполе.

Он поклонился.

— Итак, через месяц — в Неаполе.

— К тому времени я так или иначе решусь.

Он снова поклонился. Они прошли через вомиторий и расстались у Мета Суданс.

Праздник *moscoletti* был в полном разгаре, и сотни тысяч свечей метались, ярились, бросались в гущу сражения, разгоряченные лица свисали с балконов верхних этажей, и каждый защищал свою свечу, стараясь погасить чужую с помощью мехов, дыхательных трубок, громадных вееров... Внезапно Постный колокол погасил все свечи, но толпа, что стала напоминать теперь выдохшееся шампанское, не редела, и кучер Ровены долго с уловками пробирался, лавируя в толчее разъезжавшихся экипажей, пока не высадил ее у палаццо; там Ровена нашла довольно холодную записку от мужа, сообщавшего, что он не дождался ее и отправился один на мероприятие, завершавшее светский карнавальный сезон — бал-маскарад в Палаццо Рондола.

Герцог ди Рондола (тот самый «Рондола», который был натуралистом и превратил свой парк в знаменитый «Зоопарк Рондола»), в том году задавал тон сезона, и в эту последнюю ночь залы его дворца были полны.

Там в полночь танцевала Ровена; но вскоре за тем, устав от душных комнат, она спустилась в парк. Она искала одиночества и мечтаний, но поиски вначале были тщетными: среди клуб и беседок ей встречалось множество уютно сидящих на скамеечках или прогуливающих пар, и она уходила все дальше в глубину парка, пока в очень затененной его части не увидела идущего к ней мужчину среднего роста в малиновом калпаке, подпоясанного кашемировым кушаком; узнав его черные усы и ровный блеск зубов, Ровена вздрогнула...

— Вы... — выдохнула она, когда они сошлись. — Я не знала, что вы здесь...

Она глядела на него с неким благоговейным страхом — второе за день свидание внушило ее воображению, что встре-

ча в парке была порождением абсолютной силы его личности, его воли и способности влиять на события; и она промолвила:

— Эта наша встреча вправду необычайна: я искала грезы...

— Я помешал?

— О, нет — так Саул, разыскивая отцовских ослиц, нашел царство, Генри.

— Царство и трагедию.

— Ах, какой же вы мрачный человек! Но лучше умереть царем, чем жить крестьянином, не так ли? — она чуть склонила голову набок, улыбаясь нежно и заискивающе.

И он:

— Не лучше ли умереть «богиней», чем жить «женщиной»?

— Искуситель, искуситель.

— Я задал вопрос.

— А я ответила! В Неаполе, через месяц, — и однако, если бы Ровена внимательно глянула в себя, она нашла бы, что ее ответ месяц спустя не слишком отличался бы от сказанного в эту ночь; но время и место были полны музыки и волшебства, тени в лунном свете веяли грезами, и Ровена с тайным беспокойством вернулась к предмету беседы, флиртуя, поигрывая этим острым оружием с мистицизмом и меланхолией, наполовину ребяческими и всецело женскими.

— Мы все время встречаемся! — заметила она. — Что же нас заставляет?

— Физика учит, — ответил он, — что некоторые атомы тяготеют друг к другу. Они неразделимы. То же и в сфере духа.

— Значит, мы все подчинены Закону?

— Атомы подчинены химическому принуждению; духи подчиняются велению Провидения.

— Так что, к примеру, наша встреча сейчас...

— Погодите, — сказал он, протягивая руку, — может быть, вот ее объяснение...

Они стояли в древесной аллее, окруженной живой изгородью аралий; аллея шла под уклон и немного повыше влю-

бленных стоял павильон, размещенный у стены; Дарнли со словами «*Вон там*» указывал вниз, где в свете двух мавританских фонарей виднелось вдалеке какое-то испещренное пятнами животное, грациозными прыжками мчавшееся к ним по аллее.

Глаза Ровены, расширившись, устремились на зверя.

— Что это за... — прошептала она.

— Леопард с озера Цана...

— Сбежал из зверинца?

— Очевидно. В этих лесах немало...

— Но он все ближе!

— Вы не боитесь? *Una lonza leggiera e presta molto, che di pel mac...*

— Генри!

— Вот и наше снадобье...

— О, не *таким* же способом, конечно! — и она слегка подалась назад, видя, что лоснящееся, шелковистое, гибкое создание, зловещее в своей красоте, быстро приближается.

— Однако, — проговорил Дарнли, — аллею позади перегородаживают павильон и стена, прохода в живой изгороди также не видать: боюсь, мы в ловушке... Но и будь здесь выход, леопард догнал бы нас, попытайся мы бежать.

— Спасите меня — умоляю!

— Вы настаиваете?

— Разумеется!

— Но как?

— Вы не вооружены?

— Нет... у меня только это... — сказал он, отцепляя от пояса изогнутое лезвие крошечного индийского кинжала, игрушку с агатовой рукоятью. — Но он лишь способен поранить, а рана, без сомнения, приведет зверя в бешенство...

— Генри! Как близко! Он остановился! смотрит на нас!

— Пусть смотрит. Со стороны может показаться, что вы взволнованы...

— Нет! Нет! Я не взволнована... Но спасите меня...

— Мы можем сейчас же покончить...

— Это ужасно! Спасите меня, молю!

— Вы все же настаиваете?

— О да! — произнесла она, не понимая, как *мог* он ее спасти, но с давних пор убежденная в способности его воли творить чудеса; он и впрямь перевел взгляд со зверя на нее, проговорив:

— Я *могу* спасти вас, но лишь одним путем — утратив часть себя. Скажите же, долго ли мне после этого придется ждать?

— Утратив часть?.. Я не пони... В любое время, когда захотите! Только спасите меня от...

— Завтра?

— Смотрите — он снова бежит к нам! Да! В любой миг...

— На рассвете?

Зверь был уже в трехстах футах от них.

— Да!

— Вы согласны?

— Да, да... Смотрите!

— Вы обещаете?

— Да!

Дарнли без дальнейшего промедления поднял кинжал; три быстрых удара разрезали у плеча его кафтан, и он рывком оторвал и бросил на землю рукав, оставив руку обнаженной; после чего граф, в такой же степени ученый анатом, в какой и охотник-космополит, знакомый с привычками животных, погрузил лезвие в свою плоть в той точке плеча, где плечевая кость соединяется с лопаткой в головке суставного гнезда, затем рассек ближайшие сосуды, мышцы, надкостницу, а после, искусно повернув кинжал, вставил острие между хрящами сустава. Его действия были такими молниеносными и одновременно точными, что он почти закончил операцию, прежде чем Ровена, побледневшая от удивления, успела понять, что происходит; и только когда она заметила поток крови, хлынувший по сделавшейся белой руке, увидела его сурово сжатые челюсти, точно высеченные из гранита, она все поняла и издала крик, а зверь, нюхавший воздух едва ли в шестидесяти футах от них, громко заскулил...

Отбросив кинжал, Дарнли охватил свое левое запястье правой рукой, потянул и вырвал руку из плечевого сустава.

ва; он успел вовремя, ибо глаза зверя уже зажглись зелеными искрами хищного желания, — и когда леопард пополз, прижимаясь брюхом к земле, извиваясь и готовясь к прыжку, Дарнли взмахнул оторванной рукой, как палицей; рука полетела, крутясь, и упала прямо перед мордой зверя.

Леопард с мгновенным восторгом набросился на этот дар небес.

Подождав с минуту, пока леопард не приступил к трапезе, наклонив голову набок и грызя руку с зажмуренными глазами, Дарнли стал угрожающе наступать на него, топая ногами; леопард, схватив добычу и рыча, отступил вниз по аллее; Дарнли вновь двинулся вперед, и леопард от неожиданности снова попятился; так они добрались до конца аллеи, где зверь прыжком скрылся из виду.

Все это время Ровена стояла, окаменев; но увидев, что граф возвращается, она побежала с холма к нему; он прижимал к левому плечу кушак и был бледен, как кобылье молоко. В ее лице также не было ни кровинки — она понимала, что Дарнли выкупил ее жизнь ценой своей крови.

— Видите ли... я должен... оставить вас, — выдохнул он, дыша неровно и коротко, громко выпуская воздух из посиневших губ, но по-прежнему улыбаясь; и, произнеся «Я должен вас оставить», он небрежно глянул влево, как на прореху в одежде.

И она:

— О, Генри, умоляю! умоляю! врача...

— Это ни к чему, — задыхаясь, произнес он со всей бесстрастностью, доступной смертному. — Я остановился в «Отель д'Эспань», неподалеку... Я вернулся... чтобы сказать вам... *до свидания*.

— Ах, Генри! — промолвила она, положив руку на его правое плечо, а он, нежно глядя на нее, спросил:

— Вы наконец отдаете себя мне?

Умиряющее «да» вздохом слетело с ее губ, почти соприкоснувшись с его губами; но воля его подавила всякую ласку: она была отдана другому — «до смерти»; после смерти она будет принадлежать ему. Но не сейчас — он был человеком чести, нерушимой порядочности...

— Итак, на рассвете? — раздался его голос.

Вновь испытывая смещение, она отшатнулась.

— Когда наступит рассвет?

— Ровно в половине седьмого.

— Завтра?

— О да.

— Покинуть все... Ну хорошо, но скажем, в семь — или в восемь.

— Тогда в восемь. Возьмите это.

Отняв кушак от кровоточащей округлой раны, он извлек два пузырька и отдал ей один со словами:

— Три капли.

— В восемь?..

— В восемь... *Arrivederci*.

— Генри... *Бога ради*... — прошептала она ему вслед.

Но он ушел; и она, стоя там в ужасе, смотрела, как он, пошатываясь, спускался по склону, ибо он уже умирал, но был пьян, как от вина. Удары ее сердца падали медленно и громко, словно удары молота, и сердце это было расколото надвое: она должна была умереть — но жаждала жить.

С трех ночи до семи утра Ровена крепко спала.

Открыв глаза, она сразу ощутила на душе ужасающую тяжесть и задрожала. Но так же, как и в другие дни, Ровена вызвала звонком горничную; и, когда та вошла, она, лежа на кушетке в своем будуаре в бледно-оранжевом парчовом халате, негромко произнесла одно слово:

— Шоколад.

Выпив немного испанского шоколада, густого, как суп, она на время вручила себя в руки горничной, наслаждаясь роскошным скольжением гребня в волосах; затем она отпустила служанку. К тому времени до рокового часа, восьми, оставалось всего двадцать минут, утро же было ясное и теплое.

Она протянула руку, взяла пузырек, что дал ей граф, и несколько минут вертела его в пальцах; ее губы кривила гримаска нетерпения. Утро приносит размышления; Ночь

— это иное царство и иной образ существования, и при ярком свете солнца мы глядим на ее лунные сияния и бури чувств с некоторым изумлением и вновь обретенным здравомыслием. Встав, Ровена на цыпочках подошла к окну и, разжав пальцы, позволила пузырьку упасть вниз, прислушавшись к хрупкому звону разбившегося стекла на камнях двора. Но теперь она побледнела, как сама смерть.

О, сносить его презрение — он жив, она жива! Это тоже было своего рода смертью, ибо она была соткана из его мыслей и мнений и долго жила и воспринимала свое бытие в его фантазии о ней; и так она стояла, и виновато ждала, прижимая руку к мчащемуся бешеным галопом сердцу, а драгоценные минуты уходили... В восемь он умрет — осталось всего семь минут... Нужно написать ему, остановить его; но не следовало ли сделать это *раньше*? Не терять драгоценные мгновения? Дарнли сказал, что поселился в «Отель д'Эспань»; но она не знала, где находилась гостиница, и минуты незаметно уходили, пока она попусту теряла время — сердце осыпало ее тяжкими упреками, но мысль о его презрении — он жив, она жива — была такой же тяжелой. Она позвонила.

— Далеко ли «Отель д'Эспань»? — со злостью спросила она.

— В четверти мили, миледи, — ответила горничная.

— Торопитесь... снарядите верхового...

Она нацарапала и бросила горничной записку с единственной невыразительной строкой: «Прошу вас, ничего не делайте».

Оставшись одна, она заперлась, инстинктивно скрывая от посторонних глаз дрожь, неудержимо охватившую теперь все ее тело; затем упала на кушетку, с силой сомкнув веки.

Еще три минуты: тиканье маленьких часов, торопящихся пробить, сотрясало ее всю, и удары прозвучали, как грохот губельного барабана: первый, второй... четвертый, пятый... и с роковым восьмым из груди ее вырвался, по правде сказать, вздох облегчения.

Прощай! Она не сомневалась, безусловно чувствовала, что он мертв, и в этот миг в ней смешались ненависть, от-

вращение и осознание того, что она навсегда от него избавилась.

Увы, слепой смертный! не сознающий, что вокруг всякого объекта — Мириады! что много бесконечней яви вещей то Бездонное, на коем они расцветают!

Гонец леди Ровены прибыл в «Отель д'Эспань» в десять минут девятого; вся гостиница ходила ходуном; он заторопился назад с известием, что лорда Дарнли обнаружили мертвым.

Каково же было его изумление, когда по возвращении он нашел палаццо своего господина в такой же растерянности, какую наблюдал в «Отель д'Эспань»! Потрясенные со товарищи поведали ему, что ровно в три минуты девятого по всему крылу дворца, где располагались покои леди Ровены, разнесся крик, — крик столь ужасающий, что все похолодели до мозга костей, смешение сопрано и хрипа, дикое и жуткое... Но слуги, сбежавшиеся к покоям Ровены, нашли двери запертыми...

А ближе к вечеру весь Рим был удручен слухами о двух кончинах; печаль усиливала мрачная тайна, окутывавшая грустное событие: если в случае лорда Дарнли достаточно очевидной причиной смерти являлся сильнодействующий яд, распространенный среди кули Пуны, в случае леди Ровены все лишь напрасно ломали головы. Правда, состояние слизистой оболочки ее горла, по словам докторов, позволяло заподозрить удушение; но этому выводу сопутствовал и другой, а именно — пальцы душителя (если то был душитель) отличались такой консистенцией, что не оставили ни малейшего следа или отпечатка на снежной белизне горла Ровены.

ЖЕНА ЮГЕНЕНА

ЖЕНА ЮГЕНЕНА

*Ю*генен, мой друг — любитель искусств, острых ощущений и нервных импульсов, — идеальный *boulevardier* и *persifleur*, не иначе, утратил рассудок, со всей уверенностью заключил я. По крайней мере, к такому заключению я пришел, когда после долгих лет молчания получил от него следующее письмо:

«*Сдили*», друг мой; этим именем называют они теперь сей древний Делос. По каковой причине и было сказано: “Так проходит мирская слава”.

Ах! Но для меня он, как и был для *нее*, — все еще Делос, священный остров, где родился Аполлон, сын Лето! Из своего жилища на вершине Кинта я вижу широкую дугу Киклад, вижу суда с приношениями — плодами Сирии, Сицилии, Египта; вижу ладьи, привозящие на праздник божественных посланниц Пан-Ионии — священные одеяния богинь трепещут на ветру, что вновь доносит до меня их “песни избавления”.

Остров ныне почти целиком принадлежит мне. Я также, без малого, единственный его обитатель. Делос имеет, как вы знаете, всего четыре мили в длину и вполовину меньше в ширину; я приобрел каждый свободный фут его поверхности. Я живу на плоской гранитной вершине Кинта и здесь, друг мой, я умру. Цепи неумолимей и ужасней тех, какие знали когда-либо члены Прометея, приковывают меня к этой скале.

Друг! друг! вот по кому тоскует мой больной дух. *Живой человек*: мертвых у меня достаточно, живых чудовищ, увы, слишком много! Престарелый слуга, быть может, двое, которые, как кажется, настойчиво избегают меня — вот и все мое человеческое общество. Осмелюсь ли просить вас, спутника моих давних лет, прийти на помощь несчастному, погибающему в этом месте запустения!»

Письмо продолжалось на многих страницах с тем же смешением высокопарности и отчаяния и содержало, кроме того, подробное обсуждение пифагорейской доктрины метемпсихоза. Трижды встречалось словосочетание «живые чудовища». Подобное послание, и от него, не могло не возбудить у меня крайнего любопытства и жалости.

Путешествие из Лондона на Делос не назовешь близким, но я, уступив во время длительного отпуска непреодолимому побуждению и приятным воспоминаниям о прошлом, в одну звездную ночь все же сошел на песчаный берег в некогда знаменитой гавани маленького греческого острова. Мое прибытие можно точно датировать благодаря тому, что произошло это ровно за два месяца до весьма необычайного природного катаклизма, случившегося на Делосе ночью 13 августа 1880 года. Я пересек кольцо плоской земли, которое тянется вдоль берегов острова, и начал подниматься на центральную гору. Дремотный воздух изнывал в диком дыхании роз, жасмина и миндаля; не было недостатка в стрекоте цикад и искорках светлячков, дополнявших наркотическое очарование этой страны грез. Менее чем через час я вошел в запущенный сад и положил руку на плечо высокого сутулого человека в аттических одеждах, одиноко бродившего под деревьями.

Он испуганно вздрогнул и повернулся ко мне.

— Ах, — сказал он, тяжело дыша и прижимая обе руки к груди, — это было так неожиданно! Мое сердце...

Он не смог продолжать. Это был Югенен — он и не он. Густая борода, стекавшая по его белой шерстяной одежде, была, как я мог заметить, все такой же черной; но неопрятные космы волос, колыхавшиеся с каждым дуновением зефира вокруг его головы и шеи, обесцветились до снежной белизны. Он смотрел на меня тусклыми и запавшими глазами давно умершего человека.

Мы вместе пошли к дому. Одного взгляда на здание было достаточно: я понял, что каким-то таинственным образом, в какой-то степени, Прошлое сковало и омрачило интеллект моего друга. Особняк был чисто эллинского рода, но поистине непредставимого размера — дебри, а не жилище. Я оказался в древнегреческом доме, только во много раз увели-

ченном и превращенном в бесконечное, непрерывное скопление греческих домов. Он был одноэтажным, хоть здесь и там над громадной плоской крышей возвышался второй ярус комнат. К этим последним вели лестницы. Мы прошли через дверь, открывающуюся внутрь, в коридор, который, в свою очередь, привел нас на прямоугольный мраморный двор; это была *аула*, окруженная коринфскими колоннами, с каменным алтарем Зевса Геркейоса в центре. Вокруг двора располагался с каждой стороны ряд залов, покоев, *таламосов*, увешанных богатым бархатом; и весь колоссальный дом, состоящий из сотен и сотен копий таких же дворов и окружающих помещений, образовывал непроторенную пустыню комнат, в чьих однообразных лабиринтах непременно заблудился бы и самый хитроумный путник.

— Это здание, — сказал мне Югенен через несколько дней после моего приезда, — это здание — каждый камень, доска, драпировка — было сотворено дикой и беспокойной фантазией моей жены.

Я недоуменно уставился на него.

— Вы сомневаетесь, что у меня есть или была жена? Тогда пойдемте со мной. Вы увидите... вы увидите... ее лицо.

Он повел меня по темному дому без окон, днем и ночью освещенному приглушенным пурпурным сиянием, которое исходило от множества маленьких открытых глиняных ламп, наполненных ароматным *нардинумом*, маслом, выжатым из цветков арабского растения нард.

Я следовал за изможденной фигурой Югенена через бесчисленные мрачные залы. Пока он медленно тащился впереди, заметно задыхаясь, я обратил внимание на то, что шел он согнувшись, словно высматривая что-то внизу; как я вскоре понял, это что-то было алой нитью, проложенной в качестве путеводной тропы в лабиринтах дома и бегущей по черному полу. Внезапно он остановился перед дверью покоев, именуемых *амфиталамосом* и, сам оставшись снаружи, жестом велел мне войти.

Я не имею, так сказать, «предрасположенности к тремору», и все-таки я не без дрожи оглядел комнату. Вначале я ничего не мог различить в мрачном свечении одинокой лам-

пы, висевшей на кованых медных цепях. Но постепенно передо мной проступила огромная картина без рамы, написанная масляными красками и занимавшая почти всю стену. Это был портрет женщины. Мое сердце трепетало, охваченное странным, глубоким волнением, когда я рассматривал ее черты.

Она стояла, выпрямившись во весь рост, облаченная в ниспадающий, багряный, вышитый *пеплос*, с чуть откинутой назад головой; одна рука была вытянута и указывала вперед и вверх. Лицо было не просто греческим — древнегреческим, в отличие от современного типа — но преувеличенно, неправдоподобно древнегреческим. «Красивее ли эта женщина всех смертных — или ужасней?» — спрашивал я себя. Справедливо было и то, и другое, или и то, и другое вместе, и однако, загадка была неразрешима. Ламия Китса возникла предо мной — этот «чешуйный блеск, сверканье багрянца, лазури, злата». Недвижные поразительные глаза приковывали меня к месту, пока образ ее медленно овладевал моим взором. Вот она, пробормотал я, голова Горгоны с волосами-змеями и глазами василиска; и, размышляя об этом, я вспомнил миф о странных созданиях, рожденных каплями крови, стекавшей с головы Медузы; а затем, с судорогой отвращения, припомнил детские бредни Югенена, его слова о «чудовищах». Я подошел ближе, стараясь понять, что произвело на меня такое впечатление, близкое к ужасу, и вскоре нашел — или подумал, что нашел — ключ. То были, вне сомнения, глаза женщины. Правильней сказать, глаза тигра: круглые, зеленые, большие, с блестящими желтыми радужками. Я поспешил выйти из комнаты.

— Вы видели ее? — спросил Югенен с хитрой и нетерпеливой гримасой на пепельном лице.

— Да, Югенен, я видел ее. Она очень красива.

— Она написала это сама, — сказал он шепотом.

— Что вы говорите!

— Она считала себя... она *была*... величайшим гением живописи со времен Аппеллеса.

— Но сейчас — где она сейчас?

Он поднес губы к моему уху.



— Она умерла. Вы, во всяком случае, выразились бы именно так.

Эта двусмысленность показалась мне еще более необычной, когда я обнаружил, что Югенен имел обыкновение скрытно и регулярно посещать отдаленные помещения дома. Поскольку наши спальни были смежными, я со временем не мог не заметить, что он посреди ночи — дождавшись, когда я, по его мнению, крепко засну — вставал, собирал остатки нашего ужина и спешно, крадучись, исчезал с ними в сумрачных залах громадного дома, всегда следуя в одном и том же направлении, указанном алой нитью на полу.

С тех пор я принялся усердно изучать Югенена. Природа его физического недуга, по меньшей мере, была ясна. Он страдал особым расстройством, которое врачи называют «дыханием Чейна-Стокса»; болезнь проявлялась через определенные промежутки времени, вынуждая его откидываться на спину в мучительной агонии дыхания и стенать от недостатка воздуха; его скулы, казалось, готовы были прорвать увядшую кожу мумии, ноздри безостановочно расширялись и сокращались. Но даже этот распад тела, считал я, мог быть частично приостановлен, не сопровождайся он яростным возбуждением *разума*, от которого в мире не существовало лекарства. Прежде всего, Югенена преследовала вера в какой-то зловеющий рок, нависший над островом, где он жил. Он снова и снова вспоминал в разговорах со мной все древние описания Делоса, подчеркивая в гомеровых и александрийских гимнах Аполлону Делосскому странное представление о том, что остров *плавал* на морских волнах, или был прикреплен ко дну цепями, или был извергнут из глубин, дабы послужить временным пристанищем несчастной Ортигии, либо же, наконец, что ему предстоит *утонуть* под надменной пятой новорожденного бога. Долгие часы, словно беседуя сам с собой, он без усталости развивал своего рода сновидческие, мистические толкования прочитанных нами вместе отрывков. «Известно ли вам, — говорил он, — что древние твердо полагали, будто водные потоки Делоса вздымаются и опадают в согласии с отливами и приливами Нила? Может ли что-нибудь яснее указать на веру в необыкновенный харак-

тер острова, его далеко идущее вулканическое родство, оккультные геологические аномалии?» Он часто повторял каламбурный гекзаметр древнейшего сивиллова пророчества:

*ἔσται καὶ Σάμος ἄμμος, ἔσεῖται Δῆλος ἄδηλος**

и часто, повторяя это, он извлекал из жалобных струн эоловой лиры тренодий, который, как он пояснил, сочинила его жена в виде аккомпанемента к стиху; и когда к погребальному завыванию этой надгробной песни — такой дикой и скорбной, что я не мог слушать ее без содрогания — присоединялась меланхолическая нота пустого и горестного голоса Югенена, воздействие ее на меня становилось невыносимым, и я радовался неверному, бледно-пурпурному свету ламп, хоть немного скрывавшему от Югенена мое лицо.

— Заметьте, однако, — добавил он однажды, — значение подразумеваемого эпитета «далековидный» применительно к Делосу: это означает «достославный», «многоизвестный» — видимый издалека не столько телесным, сколько духовным оком, так как остров не слишком гористый. Следовательно, слова «исчезнет из глаз» должны иметь соответствующее значение угасания этой славы. Судите сами, исполнилось пророчество или нет, когда я скажу вам, что эта священная земля, на которую некогда не разрешалось ступить ни единой собаке, на которой ни одному человеку не было позволено родиться или умереть, в настоящее время носит на своей груди чудовище, что отвратней плода воображения любого демона. Жуткое буквальное и физическое исполнение пророчества не может, я считаю, быть делом отдаленного будущего.

Я был уверен, что подобный эзотеризм был прежде чужд Югенену. Эта буйная поросль сорных трав душила его разум, но корни ее, как виделось мне, питались некоей огромной энергией, овладевшей моим другом. Мало-помалу я стал расспрашивать его о жене.

* Самос станет песком, и Делос (далековидный) исчезнет из глаз (*Прим. авт.*).

Она происходила, по его словам, из старинной афинской фамилии, которая благодаря постоянным усилиям сохранила чистоту своей крови. За несколько лет до моего визита Югенен, пресыщенный и уставший, проезжал через Грецию по пути на юг и как-то вечером оказался в деревне Кастри; и там, на месте древних Дельф, посреди разгневанной толпы греков и турок, угрожавших разорвать ее на части, он впервые увидел Андромеду, свою будущую жену.

— Она обладала невероятным мужеством и колоссальной оригинальностью мышления, — сказал он, — поскольку взяла на себя роль современной Гипатии и решилась, находясь среди фанатиков, возвратить на исходе века древних богов, как сделала некогда та. Разъяренная толпа, от которой я ее спас, окружила ее перед портиком только что построенного храма Аполлона, чей культ она надеялась там же и тогда же возродить.

Страстная любовь этой женщины обратилась на ее спасителя. Югенен чувствовал, что скован импульсом непреодолимой воли. Они соединились и по ее настоянию поселились в сумрачной обители, созданной ею на Делосе. В этом одиночестве, в этих тенях мужчина и женщина остались вдвоем. По прошествии нескольких месяцев Югенен открыл, что женился на провидице, жившей в мире видений, на сновидице, преисполненной снов. И каких видений! каких безумных снов! Югенен признался, что она внушала ему благоговение, и к этому благоговению примешивалось чувство, бывшее если не страхом, то чем-то сродни страху. Он понимал теперь, что вовсе не любил ее, а крайности ее страсти стал воспринимать с ненавистью, какую испытывают люди к экстракту болиголова. И все же его разум неизбежно должен был окраситься ее мрачным мировоззрением. Он жадно впитывал все ее поучения. Он следовал за нею, как луна за планетой. Когда она целыми днями скрывалась от него и куда-то исчезала, он бродил, покинутый и несчастный, тщетно разыскивая ее в лабиринтах дома. Обнаружив, что она имела привычку отдаваться наркотическим радостям семян некоторых опиатов, встречающихся на острове, Югенен нашел в себе смелость выразить неодобрение — и кончил тем, что сам стал



рабом индийской *ганджи*. Так было и с ее странной властью над животным миром: ему это не нравилось, его это ужасало; он считал это чрезмерным и противоестественным; но он лишь украдкой бросал бесплодные взгляды и ничего не говорил. За нею обычно тянулся длинный зачарованный караван живых существ, в особенности кошачьих и крупных птиц. Собаки, напротив, сторонились ее и скалили зубы. Она привезла с собой с материка целую коллекцию этих питомцев, половины из которых Югенен никогда не видел; они содержались в неведомых уголках дома; время от времени она исчезала, чтобы вернуться с новыми компаньонами. Доброта, которую она проявляла к этим бессловесным тварям, была, я полагаю, достаточным объяснением ее власти над ними; но разум Югенена, уже разбитый болезнью, мрачно искал какую-то иную причину. Основной мотив этого беспокойства, несомненно, заключался в фанатической приверженности его жены пифагорейскому учению о переселении душ. В этом отношении Андромеда была определено незыблемой. Она, рассказывал Югенен, выпрямлялась, протягивала руку вперед и, застыв с безумным взором, быстрым гортанным речитативом — словно пифия в экстазе исступления — пророчествовала о вечных трансформациях, уготованных духу человека. С неким презрением она останавливалась на ограниченности животных форм в мире и с негодованием доказывала, что дух человека выдающегося и самобытного, утратив тело, *может и должен* вселиться в не менее выдающееся и оригинальное вместилище. «И, — часто добавляла она, — на земле существуют подобные создания, но Господь, желая уберечь человечество от безумия, прячет их от глаз обычных людей».

Не скоро удалось мне склонить Югенена к рассказу о финальной катастрофе его необычайной супружеской жизни. Наконец он поведал об этом в следующих словах:

— Как вы теперь вы знаете, Андромеда была одним из величайших художников мира — вы видели ее автопортрет. Однажды, привычно рассуждая об ограниченности доступных форм, она вдруг сказала: «Но и ты будешь посвящен: пойдем, пойдем, я тебе кое-что покажу». Она быстро пошла вперед,

маня меня за собой, оглядываясь и улыбаясь мне любяще и покровительственно со снисходительностью жрицы, ведущей в храм неофита; я следовал за нею, пока мы не остановились перед только что законченной картиной, на которую она указала. Я даже не стану пытаться — ибо такая попытка была бы глупостью — описать тот ужас и безумие, что я увидел на холсте; не могу я и описать словами ту бурю злости, презрения и отвращения, что поднялась во мне при виде этого изображения. Ее кощунственная фантазия разожгла во мне такой гнев, что я поднял руку и хотел ударить ее по голове; по сей день не знаю, нанес ли я удар. Я ощутил, это правда, как рука моя соприкоснулась с чем-то мягким и податливым; но удар, если я его и нанес, был, без сомнения, слишком слабым, чтобы причинить вред субстанции много тоньше человеческой. И все же она упала; пелена близящейся смерти заволокла ее тускнеющие, укоризненные глаза; она сумела проговорить последние слова, указывая на Нечисть: «Во плоти узришь ты это!». И так, все указывая, указывая, она испустила дух.

Я перенес ее тело, забальзамированное в греческой манере умельцем из Коринфа, в одну из небольших комнат на крыше дома. Я оставил ее во мраке этой тесной и одинокой камеры и, собираясь выйти, заметил улыбку смерти на восковом лице в открытом гробу. Две недели спустя я пришел навестить ее. Друг мой, она полностью исчезла, за исключением костей; и из пустого гроба, над голым, лишенным плоти черепом, мне навстречу вспыхнули два глаза — живых глаза — глаза самой души моей Андромеды, но полные вновь родившегося яркого света, и в то же время глаза изображенного на картине ужаса, чьи очертания я начал различать в темноте. Я захлопнул дверь и упал на пол без чувств.

— Вы хотите намекнуть, мне кажется, — сказал я, — на изменение облика, переход от человека к животному; но, разумеется, предположение, что чудовище, тайно приведенное в дом вашей женой и случайно запертое вами с мертвой, обезумело от голода и набросилось на тело в открытом гробу, кажется если не менее ужасным, то по крайней мере менее невероятным.

Он на мгновение поднял на меня глаза и затем ответил:

— С мертвой я не запираю никаких чудовищ. Не спешите с «объяснениями». Я не должен напоминать вам о том, что вы и так знаете: на земле — не говоря уж о небесах — есть много такого, что и не снилось вашим мудрецам.

— Согласитесь, хотя бы, что нужно бежать из этого дома, — убеждал я.

Югенен ответил необычайным признанием: любое пренебрежение желаниями существа оказывало такое пагубное влияние на его здоровье, что у него давно не осталось сомнений — жизнь его тесно связана с жизнью создания, за которым он ухаживал; совершение же *второго* убийства, в каком он станет повинен, да что там, сама попытка его совершить, к примеру, путем бегства из дома — оборвет его собственную жизнь.

Услышав это, я преисполнился решимости спасти своего друга, несмотря ни на что и даже его самого. Прошло уже два месяца; близился конец моего пребывания на острове — но болезни его души и тела ничуть не отступили. Меня мучила мысль, что Югенен снова останется один и падет жертвой разрушительных маний.

В тот же день, когда он забылся влажной, беспокойной, опиатной дремой, я пошел по пути, означенному алой нитью. Она вела так далеко — и так похожи были залы, и так змеился путь, и такими неизменно однообразными были помещения по обе стороны от меня, что я не сомневался: если путеводная нить где-либо оборвется, добраться к желаемой цели можно будет лишь благодаря неслыханному везению. Я прошел по нити до самого конца, и заканчивалась она у подножия крутой лестницы, по которой я поднялся. Наверху и почти рядом с лестницей тянулась узкая стена с запертой деревянной дверью; в двери было отверстие, достаточно большое, чтобы пропустить внутрь руку. Когда я достиг верхней ступеньки, мой слух поразило долгое, низкое, жалобное скуление, отвратительно схожее с человеческими стенаниями.

Я поспешил спуститься. На небольшом расстоянии от лестницы я разорвал шелковую нить и, собирая ее по пути в ла-

донь, еще раз разорвал нить неподалеку от наших покоев.

— При сем, — произнес я, поднося нить к пламени лампы, — спасена будет живая душа.

После я лег и смотрел сквозь полусомкнутые веки, как Югенен, изможденный и дрожащий, собирался на свою еженощную вылазку. Мое сердце билось в тревожной агонии, пока я ожидал его затянувшегося возвращения.

Он вошел в мою комнату быстро и беззвучно и потряс меня за плечо. На его лице было непривычное выражение спокойствия, благородного достоинства и таинственности.

— Проснитесь, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы... плохой из меня хозяин дома, не правда ли?.. чтобы вы нынче же ночью, немедленно, оставили меня, покинули остров — *сейчас же*.

— Но скажите, почему... — ахнул я.

— Нет-нет, отказа я не приму. Просто доверьтесь мне на этот раз и уходите. Судьба обратилась против меня — судьба столь дерзкая, что даже не позаботилась скрыть содеянное. Уходите. В гавани вы найдете рыбаков, кто-нибудь из них еще до рассвета доставит вас на Ринию, и вы будете спасены.

— Спасен... но от чего?

— От чего? Не могу сказать. От той судьбы, какой бы она ни была, что ждет меня. Знаете ли вы — можете ли вы представить — что нить, на которой висела моя жизнь, *оборвана?*

— Но если я скажу...

— Вам нечего мне сказать. Ах... вы слышите?

Он поднял руку и прислушался. У дома внезапно завыл ветер.

— Поднимается ветер, только и всего, — сказал я, вставая с постели.

— Но это... то, что последовало за порывом ветра. Разве вы не *почувствовали?*

— Югенен, я ничего не почувствовал.

Он охватил обеими руками мраморную колонну и прижался к ней лбом, а одной ногой негромко и механически стал отбивать такт по полу. В этой позе он, теперь совер-

шенно растерянный и оробевший, оставался несколько минут. По временам до нас доносился вой ветра. Внезапно он со смертельно бледным лицом повернулся ко мне и издал вопль, как испуганная донельзя женщина.

— Но сейчас... по крайней мере сейчас.... вы *почувствовали*?

Я не мог больше отрицать очевидное. Весь остров словно бы тихо покачивался, как на корабль на якоре.

Сам утратив присутствие духа, дрожа больше в благоговейном трепете, чем от ужаса, я схватил Югенена за руку и попытался оторвать его от колонны. Он что-то с мрачным видом бормотал, цеплялся за колонну и отказывался двинуться с места. Я, решив вопреки всему остаться с ним, сел рядом. Сейсмическое волнение усиливалось. Но Югенен, кажется, больше ничего не замечал, лишь автоматически, с регулярностью часового механизма, выстукивал такт. Прошел час, два часа. Наконец качание земли сделалось интенсивным, быстрым и безостановочным.

В какой-то момент я в приступе паники вскочил на ноги и затряс его за плечи.

— Упрямый человек! — вскричал я. — Вы потеряли последние остатки благоразумия? Как вы не ощущаете запах, не чувствуете, что дом в огне?

Его глаза, ставшие темными и тусклыми, вмиг зажглись новым безумием.

— Значит, — громогласным и ясным трубным голосом прокричал он, — она будет... да, она *будет* спасена! О, гепард — *оперенный гепард*!

Не успел я задержать истекавшего теперь изо рта пеной безумца, как он пробежал мимо меня и выскочил в коридор. Я бросился догонять его со всей быстротой, на какую был способен. Ковры и портьеры, чуть занимаясь тусклым пламенем, наполняли переходы дымом Тофета. Я надеялся, что Югенен с его слабыми легкими рано или поздно упадет, задыхаясь от усталости. Но некая энергия будто придавала ему силы — он летел вперед, как ветер; какой-то уверенный таинственный инстинкт словно направлял его: он не колебался и ни разу не замедлил бег.

Долгая погоня по трещавшему, горящему теперь со всех сторон дому подошла к концу. Верная интуиция безумия не подвела помешанного — он достиг цели, к которой стремился. Я увидел, как он взлетел по полусгоревшей лестнице, подножие которой уже превратилось в озеро огня. Он подбежал к дымящейся деревянной двери гробницы Андромеды и рывком открыл ее. И из темного склепа вырвался — заглушая гул огня, завывание бури и тысячеголосый рокот землетрясения — пронзительный и хриплый вой, от которого кровь заледенела у меня в жилах; и я увидал, как из тьмы появилось существо столь омерзительное, что никакой человеческий язык не найдет слов для его описания. Ибо, скажи я, что это был гепард — исполинский гепард — с водянисто-желтыми горящими глазами — с жирным и бескостным телом под густой порослью темно-серых и ярко-красных на концах перьев — с такого же цвета крошечными крыльями на спине — с громадным, широким, расширяющимся внизу хвостом, подобным хвосту райской птицы — как передам я словами все тошнотворное отвращение, бездонную ненависть и страх, какие испытывал? Пламя, было видно, уже охватило тело зверя; оно уже горело. Я увидал, как он даже не прыгнул, а взлетел к голове Югенена; как когти впились в плоть, зубы погрузились в горло. Все это я видел. Югенен заштался, клокоча разорванным горлом, отбиваясь от оперенного ужаса, и опрокинулся туда, где секунду назад стояла лестница; они рухнули вместе в море пламени.

Я стремглав выбежал из дома, случайно найдя выход. Ночь была ясная, но все ветра, как будто сорвавшись с цепи, завывали вокруг острова в экстазе бури. Спускаясь, я замечал по пути, что деревья и некоторые скалы были опалены и расколоты; в одном месте мое внимание приковало скопление глубоких, гладких, конических отверстий, окаймленных серой светящейся окалиной. Ближе к берегу я остановился на отвесном обрыве и глянул прямо на море. Зрелище было величественным и ужасным. Не было ни валов, ни пены или ряби, но глубины, горевшие от поверхности до самого дна фосфоресцирующим светом, вздыма-

лись и, как мерцающий плуг за огненными кобылицами Диомеда, с ровной, неослабевающей, почти ошеломляющей стремительностью мчались на остров. И Делос, казалось, и впрямь качался на воде — плыл в мучительной борьбе, как малая обреченная птица в всепоглощающей стихии. С первыми лучами рассвета я покинул этот мистический храм древнего благочестия. Среди последнего, что открылось моему взору, был густой дым, все еще поднимавшийся над разрушенным и проклятым обиталищем Югенена.



ТУЛСА

ТУЛСА

(Перевод с обгоревшей индийской рукописи)

Замечательней всего, я часто думаю, то наследие жизненной силы, коего я был изначально достоин. Пропедавшие сто двадцать лет не обесцветили ни единого волоса в моей черной, как вороново крыло, гриве. Память моя по-прежнему острее, чем у многих людей. Мой взор не потускнел. Но конец, сомнений нет, уже близок. Сто и двадцать лет было великому Буддху, принцу Уде, когда он перешел в бесконечный мукут; в этом же возрасте скончался и тот, кого называли моим отцом и, говорят, также его отец и, насколько мне известно... — но подобные рассуждения легкомысленны.

Странно, что никто из моих подданных никогда не слышал и даже не подозревал о несомненной связи, существующей между Буддхой и моим народом. Он был одним из его сыновей и одним из его отцов. Здесь, в глубине и мраке моего подземелья, я впервые в наши дни поверяю пергаменту этот страшный секрет.

Я говорил о своей памяти, но, по крайней мере с одной стороны, на древе нет ни цветов, ни листьев. Все мое детство пролетело так бесследно, как если бы у меня никогда не было детства. Много и много дней я провел, отрешившись от вселенной и погружившись в созерцание этой тайны. Но и самые напряженные усилия не помогли мне озарить темноту ни одним лучом воспоминаний. Я помню, правда, когда и как пробудился к осознанию себя; но все, что этому предшествовало, теряется в черноте тьмы. Я открыл глаза в пещере, выдолбленной в естественной скале. Я лежал на спине в гробу из красного камня. Красноватая ткань, усыпанная драгоценными камнями, укрывала мое тело, но ее складки продолжались и дальше, за ногами, как будто покров

предназначался для человека большего роста. Сам гроб был достаточно велик, чтобы вместить тело взрослого мужчины. Я долго лежал, сначала в полудреме, затем с растущим осознанием своего существования. Я встал из гроба, сбросил с себя погребальный покров, выполз из каменного склепа. Я посмотрел на свои руки и ноги, руки и ноги подростка, и увидел, что они соразмерны, стройны, коричневы и красивы. Я готов был закричать от восторга и восхищения. Но слуха моего достиг голос льва. Я сразу ощутил ужас, узнав в нем врага. Солнце заходило. Я был в джунглях, посреди непостижимого леса.

Ночью я узнал миллионоликую жизнь дикой природы. Я ликовал, ускользя благодаря гибкости тела от бешеного слона и крадущегося тигра; я без страха глядел на обезьяну и неукротимого зебу; но когда я увидел змею — отталкивающую, как проказа, — ненависть и отвращение охватили меня, и я, задыхаясь от испуга, взобрался на ветви дерева.

С утренним светом я достиг края леса и вышел к величественному городу, полному воздушных, ажурных зданий, пронизанных светом, как видение; город лежал в долине, окруженной цепью высоких голубых гор, с которых сбегало множество потоков; и все это отражалось в овальном озере, занимавшем почти всю оставшуюся часть долины. При виде этого зрелища, насколько припоминаю, у меня в сознании впервые возникла идея *Времени*; я погружался в прошлое, эон за эоном, и город вызывал воспоминания, смутные, но реальные и, казалось, старые, как мир. Город тот, чрезвычайно древний, расположен в центре Индостана; он сам по себе представляет царство и остается неведомым.

На окраине меня встретил пожилой жрец. Он быстро и внимательно заглянул мне в лицо и произнес какие-то слова. Я не понимал и не мог ему ответить. Он привел меня в храм, где служил, и в течение трех лет скрывал меня от всех глаз в тайниках святилища. По прошествии этого времени жрец приказал мне отвести его в каменную пещеру и показать гроб, в котором я открыл глаза. Гроб, сказал он, принадлежал городскому магарадже, умершему за год до моего пробуждения. Магараджа скончался в глубокой старости.

сти; говорили, что он обрел всю сумму человеческой мудрости. Его подданные, следуя четко выраженному указанию покойного, не сожгли тело, но положили его в саркофаг в том месте, где, насколько я помню, во мне впервые зародилась сознательная жизнь. Мой наставник Аджиба, брамингуру, объявил меня сыном умершего раджи, которого он до тех пор скрывал. Слова его никто не подверг сомнению, ибо это показалось бы безумным олицетворением неверия — ведь я был живым подобием умершего! Настал день, когда под радостные восклицания народа я взошел на трон во дворце и стал владыкой Лованы.

В числе первых вещей, которые я узнал, было то, что все мои предки славились и почитались при жизни в качестве людей, достигших святого спокойствия йоуга; что, согласно старинным хроникам, все они без исключения оставляли заботы дурбара [или государства] своим министрам, чтобы во внутреннем дворце предаваться исканиям глубин мудрости. И во мне проявилось то же стихийное и неудержимое стремление. Я сделался своего рода йати, решив, что буду преумножать свои знания и познавать природу вещей, дабы обрести понимание высшей тайны. Годы бежали быстро. Я изучил множество языков, узнал мудрость эллинов, зооморфизм египтян, высоту пирамид Хуфу и Шафры. В напряженных размышлениях проходили мои серые дни. Я прочитал в иудейском свитке историю Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, не ведавшего ни отца, ни матери, ни начала своих дней, ни их конца. Я узнал, как Буддха, плод моего родословного древа, был самым чудесным образом рожден своей матерью Майей. Волнующие тайны мира приводили меня в содрогание; язык мой трепетал, глаза закатывались и экстаз сменялся экстазом. Я проследил тщеславие и величие человека до их потаенной сердцевины. Я искал смысл религий: откуда они приходят, куда уходят?

Спустя много лет после взошествия на престол я обнаружил документ, затерянный в пыльном древлехранилище и пожелтевший от времени. Прочитав его, я упал без чувств на агатовый пол и пролежал там весь день и всю ночь, как

мертвый. Это было повествование, записанное на пергаментном свитке, и из него я узнал о мрачной судьбе, постигшей первого из моего рода. Его звали Обал, и он оставил дом свой за сто лет до того, как Аврам, от которого родились иудеи, как пески морские, покинул Харан. В странствиях жаждал Обал постичь мудрость и узнать нравы людей. Он путешествовал, пока не достиг Ура Халдейского, одного из первых городов, построенных руками каменщика и ремесленника. Это было в Месопотамии, называвшейся Нахараим. Здесь обитали приверженцы сабеизма, положившего начало иерологии парсов. Доктрина уходит глубоко к корням Вселенной. С ней частью связаны фаллические культы и — много теснее — *змеепоклонничество*; ибо, поскольку туманные созвездия далеких небес принимают форму *змеи* и отражают ее судорожные корчи, мы видим здесь связь — достаточно глубокую, достаточно ужасную — между Пламенем и Змием; а поскольку Огонь есть пытка, то и Змий — подходящий символ Ада. Отсюда мудрость иудейского змеиного мифа об искушении и грехопадении человека; и это также объясняет, почему сабеане, поклонявшиеся в первую очередь небесному воинству огня, также почитали змеиную нечистоту. В Уре сердце Обала соблазнилось лицемерной красотой Звезды и Луны; он стал приверженцем огня и змия. В течение многих лет он вел в Уре мирную и ученую жизнь и лишь в глубокой старости его настиг приговор Судьбы. Во дворе храма Ашторет он увидел девушку-жрицу, чья красота воспламенила его сердце. Ее звали Тамар. Она дала обет целомудрия. Удалить ее от служения Богине было бы гнуснейшим преступлением. Обал это знал, но он, похоже, был человеком смелых взглядов и безудержной похоти. Он нашел случай поговорить с девушкой; мерзость любви стала меж ними взаимной; он женился на ней. Не считаясь он в Уре великим человеком, его, несомненно, забили бы камнями вместе с вероотступницей. Но они жили так долго и так счастливо, что казалось, будто небеса не замечали святотатства. Наконец Тамар умерла. Обал был очень стар. В ночь накануне ее путешествия к гробнице патриарх возлег с нею — в последний раз — на ложе из слоновой кос-

ти, где недвижно вытянулось ее тело. Он уснул. Утром евнухи, войдя в покои, нашли Обала мертвым. Его лицо и вытаращенные глаза почернели от скопившейся крови. Вокруг его горла обвилась змея, вся красная, словно пламя текло в ее венах. Тела Тамар нигде не было видно.

Я рассказывал, что упал в обморок и лежал, как мертвый. Это было странно, так как я уже далеко зашел по пути познания и осознавал древность и универсальность суеверий, всегда проявляющихся в определенном историческом метаболизме. Мой ум стремился к точному. В то время как Йокайя верят, что не существует ничего, кроме знания, вещи же являются только его формами, а Медхимук считают, что и знание, и вещи являются *солнцем*, или ничем, и что само Все — лишь призрачный покров, наполовину скрывающий вечное Сияние, я, признавая стройность этих синтезов догм, обязан признаться, что духовные склонности вели меня в другую сторону, к полной вере в материю и в истинность чувств. Поэтому я все более и более тяготел к мысли, что никакое жизненное явление не может быть истолковано иначе, как посредством «естественных» по сути своей фактов. *И все-таки* эта история, отголосок старого и исчезнувшего мира, разодрала мою душу, подобно завесе. Я даже не стану пытаться изъяснить эту тайну. Вот секрет, слишком темный — слишком темный — для речи. Народы далекого Запада толкуют о Божестве, которое вечно страдает, страдает и страдает — как будто лопающийся мозг человека в силах осознать эту мысль и жить! Желтый брамин, с другой стороны, бреет голову и с легким сердцем, полным лукавства, обсуждает ленивого Бримму, всеведущего, но окутанного инертностью, как мантией. Я же ничего не скажу. Это предмет, *источающий ужас*. В одной доктрине, по крайней мере, видится безопасность; в другой — если ее применить — безумие вечное. Потому не следует понимать все так, будто я придерживаюсь этой второй: кто поверит, если я скажу, что тайной воздействия, которое произвела на меня история Обала, была *память*? Не сочли бы мои слова бредом безумца, если бы я стал это утверждать — смутно, но убежденно — окольно, но без тени сомнения — ах! в том,

что касается *этой* тайны, да зажмет молчание своей рукой губы опрометчивости!

Теперь я принялся усердно изучать род царей, правивших Лованой с незапамятных времен. Факты, с которыми я столкнулся, были поразительны. Именно тогда я впервые узнал, что Буддха, который, как и Обал, покинул свой дом, пылая страстью к мудрости, был одним из нас. Я обнаружил, что все пятьдесят царей по прямой линии достигли возраста, далеко превосходящего обычный срок человеческой жизни; что более половины взяли в жены не индуисток, а веривших в Зенд-Авесту, последовательниц Зороастра, *огнепоклонниц*; что по меньшей мере десять из них покинули свое царство и скитались по Азии в бедности и безвестности, гонимые преступной страстью нашего рода к *каббале* познания; что не менее двадцати пяти — среди них и мой предшественник — встретили свою смерть от укусов ядовитых змей; что все они были женаты; и что смерть ни одного из них не предшествовала по времени смерти его супруги.

Когда я понял зловещий смысл всего этого, я в полутемной комнате, которую сделал своей обителью, пал лицом ниц и поклялся в сердце своем тремя клятвами, призвав в свидетели все силы Вселенной: я преуменшу и, если будет необходимо, вовсе погашу горящую во мне жажду познания; я никогда и ни с какой целью не покину свою землю и этот дом; никакая дочь человеческая никогда не станет моей женой.

Я призвал своего *девана* и двух других государственных мужей и повелел им издать указ, обещавший десять рупий серебром в награду за убийство каждой из змей в моих владениях.

— Ваш отец издал такой же указ, — сказал главный министр.

Я вздрогнул.

— И, — сказал другой, — единственным видимым последствием было невероятное увеличение числа змей в округе.

— Что прежде всего выражалось, — прибавил третий, — в быстром размножении неизвестного вида, отличавшегося необыкновенной окраской и крайней злобой.

Эти рассказы произвели на меня глубокое впечатление. В то время, думаю, мне исполнилось пятьдесят. С тех пор я еще решительней, чем прежде, отгородился от людей и, силясь успокоить вечно мятущийся мозг, отдался наслаждениям лотосовой трубки и покою сонного *бханга*. Как джайн, запутавшийся в сетях религиозного легкомыслия, никогда не убивающий живое существо, стремится путем ярых взываний к Паршванатхе и практики самоистязания силой проникнуть в *нирвану* — так я, через другие, более широкие врата, погрузился в *нирвану* видения. Тридцать лет, опаловых, с туманными хроматическими оттенками, пролетели надо мной, как час в ночи. Я был убежденным отшельником; за год едва ли двое из слуг видели мое лицо; деятельная память обо мне ушла от людей. Я все еще изучал — искал — размышлял, но мои искания тонули в умиротворяющем очаровании долгого, долгого транса, гиперборейского сна.

Однажды ночью я гулял во внешнем дворе дворца и любовался «кривым змеем», который извечно тянется вдоль неба. Впервые за много лет я вышел из сумрака своей комнаты. Я был один. До меня донеслись голоса с соседнего поля. Я задумчиво подошел к воротам и заметил толпу людей, стоявших неподалеку. Я давно уже не бывал среди людей; и вот я тихо подошел к толпе и увидел, что она окружила погребальный костер, на котором лежало человеческое тело. То был ритуал *самти*. Рядом стояла очень молодая женщина — высокая, словно богиня — неопишимо прекрасная — в опиятном затмении; ее тело благоухало; ее голова была посыпана сандаловой пудрой — жена покойного, которая посвятила себя огню, что должен был поглотить его тело. Тулса! — госпожа моей жизни — владычица моей судьбы — о, Тулса! Тогда, под луной, мой взгляд впервые упал на эту змеиную фигуру, на эту радужную грацию! Я видел, как одним легким волнообразным движением она взошла на погребальный костер — как этот невесомый дух возлег рядом с

телом мертвеца — и как по углам смолистой груди красное пламя устремилось вверх, вверх! Я был уже в летах — но крепок и гибок; я бросился вперед, с победоносной силой вырвал ее из языков пламени и громко крикнул ропщущей толпе:

— Назад, глупцы — я магараджа!

Не знаю, что за небывалая перемена свершилась во мне. Мой разочарованный дух плясал и танцевал в экстазе новой юности. Да, я поклялся — я поклялся... Но Тулса обладала тем драгоценным качеством глаз, которому греческие мастера дали имя *tó úrón*, «влажность». Чтобы добиться этого эффекта в своих статуях, они чуть приподнимали нижнее веко. Человек — это воплощенная глупость. Рассмотрим только один факт: те же греки верили, что им, единственному из всех народов, присуща так называемая *philosophia* — любовь к тонкостям премудрости; и в то самое время пелись ведические гимны, брамин систематизировал свойства атрибутов Сут, Радж и Тум, а Буддх отрицал, что Брахма, Вишну и Махадева являются эманациями Духа Божьего. Таково врожденное тщеславие и поверхностность человека.

И я тоже был тщеславен и поверхностен! Свою клятву я бросил на ветер. Юношеские страсти, усиленные в миллион раз, пульсировали в моей груди. В моей зенане, так долго пустовавшей, наконец-то появилась обитательница — и звали ее Тулса!

Меня не беспокоили пусть и глубоко укоренившиеся религиозные предрассудки моего необразованного народа, заявившего, что я украл ее из мертвых. Мне нравилось лежать рядом с нею долгие часы и наблюдать, как течет по ее венам ихор, эта кровь богов. Кожа ее бесспорно не походила на кожу индианок, но не припомню, чтобы я когда-либо в точности выяснил, откуда она родом. Знаю только, что Тулса преклонялась передо мной. Мы проводили жизнь вместе в сумеречном полумраке совершенного и счастливого одиночества; и я никогда не пресыщался ее неземным присутствием, не уставал смотреть на странные тонкие рыжеватые пряди в ее иссиня-черных волосах и на вяло-ленивые изгибы ее изысканно мягкой, гибкой и словно шедшей волна-

ми фигуры.

В один недобрый час, когда я, отяжелев от опиатов, лежал в трансе рядом с нею, она узнала от меня историю трагедии, постигшей патриарха Обала.

Она слушала с волнением, с вздымающейся грудью и с напряженным вниманием, причину которого я не мог объяснить.

— Он соблазнил ее, — произнесла она после долгого молчания, с горечью глядя вдаль, — он соблазнил ее и увел от служения небесным богам...

— Да! — Тулса! — он вырвал ее из служения вечному огню...

— А ты?

— Я, моя Тулса? *Я! Я!*

— Да — ты — *ты* похитил меня, посвященную огню, из самого пламени...

Я прижал ее, тяжело дыша, к своей худой груди.

— Ангел! ангел! Нет той силы, что способна превратить твоё драгоценное совершенство в ядовитый зуб гадюки!

Так мы проводили свою жизнь. Годы множились и проходили. Тулса приближалась к старости. Ее красота угасла — заметно угасла. С возрастом извилистость ее мускульной и костной систем стала, я должен сказать, слишком заметной, чтобы оставаться привлекательной. Странная кожная болезнь покрыла ее тело множеством маленьких, правильной формы, тускло-красных эритем. Ее глаза покраснели и истекали ревматической слизью. Я ждал, что ее волосы побелеют. Горьким было мое разочарование. Тяжелые, некогда черные волны, ниспадавшие бурным потоком к ее ногам и разливавшиеся по полу прибоем чернильного моря, сперва постепенно, после неуловимо быстро превратились в великолепное, дикое и нечеловеческое подобие огненной мантии.

Она умерла. Я собственноручно запеленал ее труп и помог возложить его на погребальный костер. Смерть среди наших восточных народов, конечно, никогда не бывает приятным зрелищем, но все же я смотрел в последний раз на бледное лицо моей Тулсы скорее с печалью, чем с отвращением.

Мы были одни во дворе дворца. Над нами и вокруг сияла луна и сверкали звезды. Я поднес к хворосту факел: колонна пламени взметнулась, потрескивая, вокруг возлюбленной жертвы.

Я до сих пор не понимаю, как это произошло: то ли огонь поглотил свою жертву с непостижимой быстротой, то ли у меня отнялось зрение из-за болеутоляющих средств, что я принимал в тот день в неограниченном количестве; но промежуток времени, который прошел между тем моментом, когда я поднес факел к грудe хвороста, и вторым, когда я поднял глаза на костер, казался исчезающе малым и незаметным — и все же за этот миг, резко опровергая мою оценку его длительности, и хворост, и тело полностью исчезли из глаз.

Я стоял в изумлении, глядя на столб голубого дыма, поднимавшийся в воздух над ничтожной горсткой пепла; и вдруг новое видение — рожденное, быть может, моей фантазией — или тиранией наркотиков — или еще более страшной тиранией яви — видение, несущее на сей раз абсолютный ужас — вторглось в мой разум. Я увидел — или подумал, что увидел — как столб восходящего дыма приобрел кроваво-красный оттенок сардия, и со спазматическим рывком вся высокая и плотная колонна красного дыма раскололась на неисчислимые части; и я видел, как все кольца, и завитки, и истерзанные щупальца, оставаясь отделенными друг от друга, приняли изменчивую змеиную форму, пока все их громадное скопище, сливаясь воедино, не стало извиваться в бесконечном движении, с пустыми глазами и обнаженными ядовитыми клыками.

Ошеломленный иллюзией, я поспешил прочь. Я вошел во дворец и через потайной коридор добрался до покоев, где мы с Тулсой провели годы нашей любви. Из масляной лампы, подвешенной к потолку, лился свет. Я опустился на сиденье и закрыл лицо руками. Шли часы, а я все сидел. Вокруг меня было все наше прошлое — она сама. Как походила на сон вся тайна ее появления, ее пребывания, ее ухода! «Тулса!» — простонал я ее имя и возвысил голос в плаче. — Где же теперь, в каком далеком зеленом святилище океанской пещеры или лазурном уголке небес, таится твоя

неземная суть?» Я поднялся, чтобы вверить свое отчаяние ложу, где она любила возлежать, и в полумраке увидел — с дрожью ужаса узрел — свернувшуюся в толстый клубок на постели, поднявшую шею и голову над отвратным гигантским основанием из спутанных колец и пульсирующую по всей своей склизкой длине жирную и омерзительную тошнотворность чудовищной Змеи, глядевшей на меня рубиновыми глазами.

Я бежал из дворца! Потайной ход вывел меня к границе леса. Здесь я наткнулся на протоптанную тропу и пошел вперед, следуя ее извивам. Восходящее солнце нового дня осветило беглеца, торопящегося прочь в дикой панике уже за много миль от башен Лованы.

Так я нарушил свой второй обет, тот, что привязывал меня к дому. Эта мысль пришла мне в голову не скоро. Но оставался третий: никогда по собственной воле не пытаться проникнуть в высшую тайну мироздания, и я всеми силами держался своей клятвы.

.

Годы шли, прошло десять лет, а я оставался все тем же — бродягой, кочующим по Индии. Я путешествовал из города в город, размышляя о нравах людей и выпрашивая хлеб у милосердных. Я бродил по улицам Бенареса, куда Буддха впервые удалился от мира; я стоял под гранитной громадой мечети Джумна Мусджид в Дели; я побывал во всех городах севера.

Но мое паломничество было далеко не бесцельным. Я искал, искал с напряженной скрупулезностью, как ищут зарытые сокровища. Я надеялся найти приют, в котором, совершенно обезопасив себя от замыслов судьбы, я мог бы лечь и умереть естественной смертью остальных людей.

Наконец, в долине Кашмира, я пришел к одинокому индуистскому храму — одной из больших вихар — представлявшему собой продолговатое помещение. Крышу поддер-

живали два ряда огромных каменных колонн, соединенных сводчатыми архитравами; в дальнем, закругленном конце зала высился колосс сидящего Буддхи. Храм был высечен в скале в предгорьях Гималаев.

Хотя на колонне висела горящая лампа, святилище казалось пустынным. Я вошел и двинулся по широкому центральному нефу. В глубине, возле статуи, где, как можно было ожидать, должна была идти сплошная стена, я неожиданно обнаружил открытую дверь. Я прошел через нее и спустился по длинной лестнице, которая привела меня ко второму храму; все вокруг было погружено во мрак; но, случайно нащупав другую дверь, я спустился еще ниже — все ниже и ниже — пока не одолел таким образом шесть лестниц одинаковой длины. К тому времени я, должно быть, уже значительно углубился как внутрь скалы, так и в недра земли.

Еще несколько ступенек, и я вышел в коридор, в конце которого располагалась круглая комната: здесь, очевидно, заканчивалось это грандиозное подземное сооружение. С потолка свисала лампа, отбрасывавшая алый свет. По виду комнаты я понял, что ее не посещали, может быть, целую вечность, и я не мог догадаться, каким образом в лампе поддерживался огонь — разве что к ней были подведены питательные трубки из дальнего, самого первого храма на поверхности; как бы то ни было, при свете я заметил, что замок на двери находился *снаружи*. Твердо решив закончить здесь свои дни, я ступил в подземную камеру и потянул на себя дверь. С радостью услышал я щелчок замка, подписавший мой приговор.

В комнате я нашел небольшой каменный стол и табурет. Я захватил с собой пергамент и письменные принадлежности. Посредством их я изложил свою историю вплоть до этого момента. Я оставлю свои записки тлеть рядом с моими костями. Пока полусладкие муки голода и томление надвигающейся болезни будут овладевать моим телом, я добавлю, быть может, одну-две фразы.

.

Только что я подметил, что эта комната не каменная, по меньшей мере в том, что касается внутренней облицовки. Это, конечно, необычно, но не может быть сомнения, что пол и потолок деревянные, а округлые стены состоят из старого листового железа, обшитого через равные промежутки узкими деревянными пластинами. Тусклый алый свет лампы, несомненно, помешал мне заметить эту особенность с самого начала.

.

Я принес собой некоторое количество опиума. На руках океана радуг я отправлюсь в путь, когда настанет великий час.

.

Опиум хорошо действует, замедляя ток крови и гоня усталое сердце к последним содроганиям. Это ускорит работу голода. Последние пять или шесть часов я провел в роскошной коме.

.

Пощады! Пощады! Несчастный я человек! Эта камера, в которой я — собственноручно — заточил себя, *есть сам подземный ад!* Случайно поднявшись со своего места, я увидел — в тени, отбрасываемой столом, — ужасное зрелище! скелет человека, обгоревший на вид, древний, как гора; нижние конечности отделились от тела, ребра распались на куски, но шейные позвонки еще оставались целы, и вокруг них — свернувшись — в совершенной сохранности и отвратной симметрии — вились позвонки огромной... Нет! только не вновь это слово! Я ударил всем телом в дверь своей тюрьмы, я целый час в безумии колотил своей жизнью, как мо-

лотом, по этой несокрушимости и наконец рухнул на пол.

.

Когда я пришел в чувство, лежа на полу, мне показалось, что я услышал очень слабый звук, исходящий, по-видимому, из-под деревянных панелей. Я прислушался. Это был тихий, хрустящий звук, как будто дерево грызла крыса.

Но едва ли именно это заставило меня так дико вскочить на ноги. Действие мое было произвольным, но я скоро понял его причину. Приложив ладонь к дереву, я ощутил на коже заметное *тепло*. Я стал ощупывать листы железа и обнаружил, что и они нагрелись.

.

Это помещение, видимо, находится очень глубоко в недрах земли. Возможно ли, что огромные геологические силы вулканического характера сотрясаются вокруг меня в родовых схватках Ахеронта? Жар пола и стен повышается медленно, но неуклонно.

.

Семьдесят лет назад я дал тройной обет. Сорок лет тому я нарушил первую клятву и женился. Десять лет назад нарушил вторую и ушел из дома. Три дня назад я пре-ступил, о, всевидящий Боже, через третью, когда собственноручно заточил себя в этой горестной гробнице. И теперь — наконец! — я познал — с ослепляющей ясностью — предельную, пылающую, сводящую с ума тайну бытия.

Она стара: ее излагали от начала времен, но слушали, как вымысел. Ни одно человеческое сердце не сжимал этот инкуб так безжалостно, как сейчас мое; ни одно глазное яб-

локо так не обжигал, обращая в пепел, этот невыносимый свет. И вот что говорю я полными глупости и ничтожества словами: существует знание, и могут существовать вещи; но все они лишь жалкие призраки одной, Единой Вещи: *Ока, что сияет и сверкает вечно!* Мудры именующие ее Аммон, Бримма, Зеу-Йа, и Ра, и Аллах; но стократ мудрее называющие ее именем *Саранью* [т. е. «Эринии», Противодействие].

.

Я буду вести записи до самого конца, горького и огненного.

.

Что-то скребется, грызет; звук усилился в миллион раз и стал теперь громогласным и непрекращающимся. Он раздается повсюду под полом — скрежещет вдоль каждой деревянной панели — раскатывается за деревянным потолком. Армия существ безостановочно и победно грызет, *грызет*, пытаюсь добраться до меня...

.

Я больше не могу касаться ногами пола; каменный стол обжигает; железная облицовка камеры, даже в алом свете лампы, испускает красноватое свечение раскаленного металла...

.

.

.

Тулса! — вновь это имя! — огненная печь жарчайшего ада! — о, горькая, *горькая* любовь! в самом центре она полыхает. И теперь — ах, теперь — из тысяч отверстий — вокруг, вверху, внизу — высовываются тысячи маленьких и багряных змеиных голов! извиваются — о, желчь Божия! — в экстазе — вытягивают и вновь свивают свои саламандриновые шеи! Багрец, багрец их имя! Но какой Вавилон шипения! Когда-то, во сне, разве не видел я, как она высунула язык, черный и длинный — и теперь — плата, плата за незаконную любовь! — теперь — о, Великий Господь, — они приближаются — это пылающее пламя червей — теперь — десять тысяч раздвоенных и иззубренных... [следуют три слова, не поддающихся однозначному истолкованию].

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

Бельфегор не был обычным демоном. — Макиавелли

Бы не знакомы, — спросил дядя Квинтус, — с историей о Великом Царе? Впрочем, это само собой разумеется, потому что вы не умеете читать клинопись, а табличку ту расшифровали лишь я да еще один ученый.

Мой дядя Квинтус — неутомонный человек — недавно вернулся после сезона раскопок и исследований курганов и руин Нимруда и Хосабада, где находится сегодня деревня Хилла и где некогда стоял Вавилон. Ночь была ненастная, порывы ветра терзали гобелены и только мерцание огня освещало нас. Мы придвинулись к камину почтительным полукругом, а дядя Квинтус тем временем затянулся из маленькой трубочки дымом смеси табака и каннабиса, привезенной с Востока.

— Вы уже слышали, что этот царь сошел с ума от гордыни, — сказал он, — но даже это не дает представления о его безумных страстях. Нерон и Сарданапал были в сравнении с ним невинными ягнятами. И при всем том он был также трусом.

Царицу звали Никотрис; она была родом из Ионии, западное же ее имя было Мойра; у нее был прямой нос и выпуклый подбородок дочери греков. Связи между Востоком и Западом тогда еще не были достаточно тесными, и неизвестно, какими судьбами она оказалась в Вавилоне, но царь увидел ее и, из жадности к новизне, полюбил. И начался дивный спектакль: стали замечать, что женщина из Ионии приобрела совершенно исключительную власть над разумом Навуходоносора — халдейского царя — воплощения величия — небесного великолепия, явленного в одеждах плоти. И все изумлялись, когда Никотрис, ранее люби-

мая, стала *внушать страх* — ведь она была самой кроткой из женщин, и могущественные сановники называли ее «учтивой» царицей Никотрис.

Изнурительная болезнь постигла царицу. Никотрис лежала, словно мертвая — холодное тело в саркофаге черного камня — и ее служанки, со стенаниями и жалобами, умащивали ей губы елеем, и всю ночь выли вокруг нее свою дикую *не-нию* о душе, улетевшей из жизни, ударами в кимвалы и звонном десятиструнных псалтерионов аккомпанируя странному и пронзительному пению, и мелодия та звучала много дней. Но когда пришли стражи некрополя, сопровождаемые процессией рогатых протоиереев Астарты, чтобы перенести тело из дворца в гробницу, Никотрис, очнувшись от оцепенения, открыла голубые глаза и снова пробудилась к жизни. В истории еще не бывало случаев подобного одновременного пребывания на земле и в стране теней. С того дня царь перестал любить свою царицу.

Величественная фигура Никотрис, ее изможденность, бледность ее лица потрясали воображение царя. Она легко, как тень, проходила с диадемой на голове через пиршественный зал, где в полночь, налитый вином, царь пировал со своими министрами, и, скользя мимо, с мягкой улыбкой предостерегающе поднимала тонкий палец. Тогда шум пиршества на минуту смолкал, и царь хмурился.

Тайна «пробуждения из мертвых» обособила ее. Никто не мог сказать, какие мрачные тайны скрывались в ее сознании, принесенные из тех подземных бледных царств, куда забрел ее отважный дух, какие ужасные зрелища видели ее широко раскрытые глаза во время этого далекого путешествия! Была ли она действительно женщиной, одной из многих, или пришельцей из могилы? Царь больше не приближался к ней: нард, кассия и мускус не могли перебить могильный запах, который в его фантазиях витал вокруг царицы; он избегал спокойствия ее улыбки; он страшился прижимать к себе в объятиях ее иссохшую грудь; вначале благоговейный трепет, после лишь ненависть воцарялись в его сердце при мысли об учтивой царице Никотрис.

И все же Никотрис любила царя, хотя, зная все его слабости, его гордость, постоянно стремилась обуздать его. Часто она увлекала его, протестующего, от радостей вина к залитому лунным светом раю дворцового сада; они составляли разительный контраст: царица на голову возвышалась над тучным, смуглым, толстогубым царем с развевающейся бородой. Часто она заставляла его следовать за собой на верхнюю площадку огромного храма Бела — пирамидального, с семью террасами, символизирующими планеты, — где находилась обсерватория астрологов. И здесь, на этой высоте, когда темным утром Плеяды уходили в небеса, царица впадала в экстаз и рукой в алом облачении от края до края обводила звездные глубины, пророчествуя властью Всевышнего: она вопрошала тогда, кто заставил рогатого коня Астарты терзать землю и чья рука забросила на небосвод «извивающегося змея». И царь отворачивался от нее с отвращением.

Но ее воля была законом в суде. Когда, например, восстали оставшиеся жители Ниневии и было решено предать их всех казни, царица спокойно вошла в зал совета и, предостерегая, убедительно молила сохранить им жизнь, после чего царь бросил скипетр на пол и вышел из зала; министры молча вышли вслед за ним, в то время как Никотрис, оставшись одна, склонилась к большому черному бабуину со склонов горы Арарат, всюду сопровождавшему ее, и со своей безмятежной улыбкой произнесла: «Вот видишь, Пул, друг мой, как принимают эти люди мудрые увещания!» В тот день, однако, непреклонность ее воли восторжествовала, и побежденных пощадили.

Однажды царь возвращался с охоты на льва на равнине Дура и, медленно проезжая в своей колеснице по лабиринту улиц Вавилона, вдруг увидел на углу девушку, чья красота покорила его душу. На ней была изящная обувь из барсучьей кожи; она вся сверкала, как шахская дочь, льняными и шелковыми вышитыми одеждами — синими, пурпурными и ярко-красными — а на лбу ее весело играл лучами изумруд. Она приподняла вуаль и царь на миг узрел прекрасное видение ее лица; после девица поверну-

лась и скрылась в темном проулке. Царь велел двум своим визирям следовать за нею; тем показалось, что она вошла в дом, куда они и вбежали; дом был сооружен в виде ступенчатой пирамиды, и на плоской крыше каждого яруса была разбита терраса с пальмами, кедрами, виноградом и прочими растениями знаменитых висячих садов. Вероятно, девушка спряталась в каком-нибудь укромном уголке этих садов; обитатели дома не знали ее; чиновники робко искали ее повсюду, но она исчезла. Они спрашивали себя: не была ли та девушка неким воздушным созданием, посланным судьбой, дабы омрачить разум царя — грозной вестницей богов? Нервное томление Навуходоносора, его боязнь смерти и зрелища смерти, его страх перед миром духов заразили всех придворных.

Сойдя с колесницы у дворцовой лестницы, царь спросил у виночерпия, поднесшего ему здесь же кубок с пряным вином:

— Где Никотрис, царица?

— Она лежит, больная, в женской половине, — отвечал Ваиезафа.

В тот день царь много раз спрашивал о здоровье Никотрис. Им овладело нетерпение: умрет ли она или снова впадет в противоестественную жизнь в смерти — ненавистную смерть, не знающую распада, нечестивую жизнь, лишённую биения пульса? Не пробудится ли она вновь? Все это, подумал он, должно закончиться, и он положит этому конец. И царь вспомнил полное изящества и красоты видение на городской улице.

Он лично навестил Никотрис на рассвете, лелея дьявольский замысел. Гарем представлял собой ряд залов, окружавших один из дворцовых дворов, а сам дворец — низкое строение, размещенное на огромной платформе из глазурованного кирпича. Царь вошел в гарем через темный сводчатый проход, с обеих сторон которого стояли на часах крылатые херувимы, и нашел Никотрис полулежащей на ложе из слоновой кости в одной из «галерей»; с ней рядом что-то болтал единственный страж — старый бабуин, верный Пул. Царь долго смотрел на нее, побледнев; он по-

клялся в душе покончить с этим — своей преступной рукой. Но, хотя Никотрис была не в силах говорить, она словно прочитала его зловещие мысли, узнала о встрече на улице — и она подняла тонкий палец. Навуходносор отвернулся.

В тот же день царя известили, что царица Никотрис, судя по всему, перешла в состояние смерти.

Прислужницы отнесли ее в открытом гробу черного мрамора в райский уголок, надеясь, что ветер с равнины, быть может, вновь оживит царицу. Рай занимал двор в углу платформы, на которой стоял дворец, и примыкал к городской стене; с двух сторон его окружал алебастровый парапет платформы, а с двух других колонны, соединенные шелковыми занавесями. Здесь журчало множество фонтанов, орошая крокусы, волчники и иксии; тыквы, дыни и смоквицы; мандрагоры и хенны. В одном углу стоял миниатюрный храм бога Нисроха, сработанный из черного дерева и охраняемый крылатыми быками. Перед ступенями его положили тело царицы.

В полночь царь покинул пиршество и вышел в сад. Его разум кипел храбростью от искристого иранского вина, он был полон ликования — наконец-то он навсегда освободился от ужасной Никотрис! Она должна быть немедленно погребена, сказал он; на сей раз никакого пробуждения! Он и не ведал, как близко лежит тело царицы.

И вдруг — перед ступенями храма — он увидел. Мраморная, она дремала под луной. Царь отскочил назад, застонав от боли. Его охватила паника, затем безумная ярость. Как случилось, что она здесь? Это была насмешка судьбы — и с глазами полосатой гиены Шинара, сверкающими на его лице, как у ирбиса за миг до прыжка, он пригнулся и, словно ирбис, извиваясь, начал подбираться к гробу, с жуткой осторожностью вытаскивая из-за пояса небольшой кинжал. Он ударил. Лишь *единожды* свершала рука человека столь гнусное бесчестие. Лезвие рассекло кожные покровы, связующие челюстные суставы. Рот разинулся. Царь увидел красное — и больше ничего не видел.

Он бежал, и рыдание застревало у него в горле; два глаза, вопрошающие, упрекающие, глядящие из-за колонны, встретились с его собственными. Он узнал глаза Пула, обещающие, и кинулся вперед, чтобы ударом свалить зверя, но Пул исчез.

Ассирийцы устраивали гробницы вне городов, в пещерах, высеченных в скалах, или мавзолеях, сложенных из раскрашенных кирпичей, причем каждый гроб помещался в отдельной камере; сам же гроб был каменным, а крышка — из стекловидного материала, похожего на современное стекло. В согласии с этими обычаями — после того, как Никотрис нашли таинственным образом изуродованной и по крайней мере *теперь*, как полагали, бесспорно мертвой — добрая царица и была погребена на следующий день, седьмого числа месяца Адара; за гробом горестно следовал верный Пул.

Царь сбросил с себя змеиные витки Никотрис. Но когда он направлялся той ночью в залы гарема, пересекая опустевшую спальню царицы, его постигло новое несчастье. Было темно; занавеси галерей были задернуты; он был один. В темноте — вздох. Вглядевшись, он заметил что-то во мраке. Царь повернулся и бросился бежать.

Сумятица беспокойного ума овладела царем в те дни. Он вскакивал со сна с обезумевшими глазами и мокрыми волосами, словно его преследовали призраки. Ночные шорохи, человеческие образы в складках драпировок пугали царя. Он возненавидел одиночество. Пирь и вино больше не приносили забвения.

Он тайно послал за жрицей-прорицательницей, служившей день и ночь в храме Астарты, и она, явившись в самый темный предраассветный час, встретила с царем во внутренней галерее дворца. Истерзанный царь сидел на краю своего ложа; она тряслась перед ним, согнувшись от старости, с высохшим лицом, с крошечными яркими глазами, полными знания.

— Две вещи, — сказал он, — ты сделаешь или умрешь: ты прогонишь духа, который вселился в меня, и укажешь мне имя и место пребывания девушки, которую я видел на улице Вавилона в первый день Адара.

— Я могу сделать даже больше — я могу *показать* царю девицу, — сказала старая ведьма.

— Как?

— Сначала в видении. Если царь придет один в назначенное место завтра в полночь — я покажу ее царю.

— Я приду.

Сивилла ушла, спустившись по лестнице в стене. Царь встал и принялся расхаживать взад и вперед по галерее. Он глядел на освещенную луной бесконечность Вавилона, на пирамиды, храмы, городские стены — ушло бы три дня, чтобы их объехать. Отсюда он видел на равнине колоссальное золотое изваяние, которое сам установил. И он топнул ногой; он с вызовом воздел руку. «Не это ли великий Вавилон?..» — думал он.

Но, пока царь размышлял о величии Вавилона, сзади его кто-то обхватил руками, и чья-то рука легла ему на горло. Он упал в глубоком обмороке...

Весь следующий день он бродил по дворцу, не походя на царя, с всклокоченными волосами и клочьями пены в бороде, и взмах его руки погрузил кинжал в грудь виночерпия, подошедшего с кубком.

Когда наступила ночь, он сильнее нахмурил лоб. Он сидел на троне в приемном зале, жалко свесив голову к колониям. В полночь он отпустил всех и, оглядываясь по сторонам, тайком спустился по большой лестнице к юго-западным воротам дворца.

Здесь его ждала Зереш, колдунья. Они вместе шли по равнине, ветер свистел в пустыне, вдалеке грохотал гром. Но луна светила ярко.

Царь шагал быстро; Зереш едва поспевала за ним. Вдруг он остановился.

— Куда ты меня ведешь?

— В город гробниц, о царь.

— Что?

— Только там в моих силах показать царю видение.

Царь пошел медленнее.

— Я скажу тебе кое-что, — сказал он резко, — и пусть твоя наука это объяснит. Царица Никотрис мертва, и все

же, когда я проходил ночью через ее покои, мне показалось, что передо мной кто-то стоит.

Зереш улыбнулась.

— Не знаю, — ответила она, — но если этот кто-то не напоминал человека, не мог ли то быть любимый царицей Пул, который, вне сомнения, до сих пор обитает в покоях своей госпожи?

— Я приказал прогнать обезьяну из дворца. Но что ты скажешь о руках, холодных, как руки Никотрис, что охватили меня в час утренней стражи?

Зереш оскалила единственный зуб.

— Несомненно, то были руки игривого Пула, о царь; будучи изгнан, он вернулся обратно, взобравшись на дворцовую платформу.

Они приблизились к развалинам Ура, где до них донесся львиный рык и вой дикой кошки, крадущейся среди руин. Справа — Евфрат, и кругом — «резьба таинственная обелиска, гроб яшмовый или увечный сфинкс», пережившие крушение первых городов мира. Здесь царило полнейшее запустение.

— Скажи мне, — спросил царь, — какова природа видения, ожидающего меня?

— Сперва царь войдет во внешнюю камеру гробницы.

Навуходоносор вздрогнул.

— Там небеса спустятся усладить ноздри моего господина.

На самом деле сивилла приказала двум девушкам ждать в темноте с дымящимися каминовыми.

— Царь, — продолжала она, — приблизится к противоположной стене, отодвинет в сторону ковер и войдет во вторую залу мертвых; тотчас небесные сферы овеют сладчайшими звуками его слух.

Во втором помещении она спрятала ловких музыкантов с флейтами и цимбалами.

— Царь пройдет через залу, раздвинет занавес и увидит перед собой...

— Ее?

— В ореоле сияния.

В третьем зале Зереш поместила самую прекрасную из своих приспешниц, облаченную в серебряное одеяние; прямо перед нею кипел на огне котелок, содержащий смесь натрона, битума и серы; сквозь пелену поднимавшегося дыма царь должен был узреть видение; молодой жрице велено было спрятаться в одной из боковых комнат после того, как взор царя упадет на нее.

Их путь пересек низко летящий орел.

— Это, — сказала Зереш в духе анимистического антропоморфизма Востока, — Орел. Он смотрит в сердце Солнца. Как сильны его крылья! Смотри, как он величаво летит! Он — символ гордости.

Царь недоверчиво посмотрел на нее.

Они приблизились к пруду, у которого на одной ноге, в бушующем теперь на равнине урагане, стояла выпь.

— Смотри, — промолвила Зереш, — вот Выпь; она печально размышляет у одинокого пруда; мрачна она — символ уныния, вечно неблагодарная, вечно недовольная.

Царь нахмурился, услышав это.

Они почти достигли окраины города мертвых, когда на тропу с ревом выскочил Бык.

— Смотри, — закричала Зереш, — дикий Бык! Он питается травой земли, но попирает землю ногой. Кто приручит его? Он вскидывает голову от избытка силы. Это — символ необузданного духа, того, что в Ионии называют *atasthalia* — бездумная, сумасбродная душа.

— Прекрати, ведьма! — вскричал царь.

Зереш прикрыла рот рукой.

Они уже подошли ко входу в гробницу, как вдруг оба остановились, словно окаменев; золотистое лицо ведьмы приобрело еще более зловещий оттенок, колени царя подкосились от нового ужаса. Тьма опустилась на землю. Луна светила тусклым рубином.

— Астарта сокрыла свой лик! — прохрипела Зереш. — Она гневается!

Но, когда тень Земли начала покидать орбиту спутника, ведьма спросила:

— Пойдет ли царь дальше?

Царь стоял, прислонившись к скале. Его губы дрожали, но он не мог издать ни звука.

— Пойдем же, — настаивала ведьма, — иначе царю не узреть видение.

Он с усилием выпрямился и пошел неверными шагами меж рядов усыпальниц; наконец Зереш остановилась перед открытым входом.

— Если господин мой отважится войти, откровение не замедлит последовать, и все будет так, как я сказала: ароматы, музыка, видения.

— Но гробница черна, как смерть; я не смею войти в нее!

— Мрак необходим, — ответила Зереш. — Моему господину нечего бояться.

Царь, дрожа, прошел под сводом в коридор, в конце которого раздвинул полог и вошел в первое помещение, слыша за собой в коридоре похоронную песнь ветра. Он стоял неподвижно и ждал обещанных благоуханий, но в ноздри его ударил запах смерти, исходивший от саркофагов.

Замычав от отвращения, он ощупью двинулся вперед и, отодвинув в сторону ковер, спустился по трем высоким ступеням во вторую комнату.

В тот же миг он ощутил присутствие еще одного существа: оно, словно ветер, металось из конца в конец комнаты и, быстро пронесшись мимо, коснулось его. Дух, терзаемый муками! Так подумали и спрятанные Зереш в усыпальнице девушки, которые ранее с криками бежали от призрака, не зная, что Пул, следовавший за своей госпожой к гробнице, стал с тех пор постоянным обитателем уединенного города мертвых.

Но музыка! Призвав на помощь все остатки здравого смысла, царь с отчаянной *надеждой* прислушивался — напрыгал все свои ошеломленные чувства, в то время как Пул, тяжело дыша, метался туда и сюда. Но вот и впрямь раздался звук — громкий, сводящий с ума — треск, лязг, как будто разлеталось осколками стекло или мертвые колотили по тюремным решеткам дома смерти.

По телу царя поползли мурашки, и он, утратив всякое чувство направления, вскинул руки и побежал. Так он дос-

тиг третьей завесы и на бегу разодрал ее.

И тогда явился свет. Котелок Зереш, кипевший над противнем с тлеющими углями, испускал светлый дым, и в дыму глаза царя различили фигуру, при виде которой у него от ужаса сотрясся мозг: то была высокая женщина, закутанная с головы до ног в погребальные покрывала, с раскинутыми руками и повязанным тряпицей челом. Он увидел прямой нос — выпуклый подбородок — воскресшую Никотрис! И пока он смотрел, покров на лице, небрежно охватывавший голову, медленно разошелся и упал; раненные челюсти, соединенные единственным сухожилием, разошлись...

...Из ее горла вырвался крик...

Царь Навуходоносор замер, бессмысленно глядя прямо перед собой, мускулы его лица напряглись, толстые губы приоткрылись. Так прошла целая минута. Потом он с безумным видом провел ладонью по лбу, но и это вскоре прошло, и теперь царь был спокоен, а губы его кривились в идиотской ухмылке.


И он был отлучен от людей, и жилище его было у зверя полевого; и волосы его отросли, как птичьи перья, как перья орла; и ногти его стали как птичьи когти, как когти выпи; и ел он траву, как дикий бык.

И тело его было орошаемо росой небесной.

HEBECTA

НЕВЕСТА

Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком! — Иов.

 ни встретились у «Круппа и Мейсона», производителей музыкальных инструментов из Маленькой Британии; Уолтер проработал там два года, а затем появилась Энни, чтобы печатать на машинке и быть полезной.

Они начали «гулять» вместе после шести; и когда съехал постоялец миссис Эванс, матери Энни, последняя упомянула об этом, и Уолтер поселился у них, на Калфорд-роуд 13, N. К тому времени Энни и Уолтер, можно сказать, были почти помолвлены. Однако его жалованье составляло всего тридцать шиллингов в неделю.

Он был настоящим кокни, этот Уолтер: хорошо сложенный человек лет тридцати, с сильными плечами, с квадратным лбом, усами и черными пятнами угрей на носу и бледных щеках.

В вечер своего прибытия в номер 13 он впервые увидел Рейчел, младшую сестру Энни. Обеих девушек, на самом деле, звали «Рейчел» — в честь оплакиваемой матери миссис Эванс; но Энни Рейчел в доме называли «Энни», а Мэри Рейчел называли «Рейчел». Рейчел, взявшись за веревку, помогла Уолтеру дотащить коробку с вещами в верхнюю заднюю комнату, и здесь, при свете лампы, он увидел перед собой высокую девушку с почти черными волосами и россыпью веснушек на очень белом, тонком носике, на кончике которого часто выступали капельки пота. У нее было худое лицо, и ее верхние зубы выдавались вперед, так что губы сжимались с трудом; она была не такой хорошенькой, как малышка Энни, вся кровь с молоком, но с первого взгляда можно было догадаться, что Рейчел требовала к себе больше уважения.

— Что ты о нем думаешь? — спросила Энни, встреченная Рейчел по пути вниз.

— Он, кажется, хороший парень, — сказала Рейчел, — довольно симпатичный. И сильный, это точно.



Уолтер провел этот вечер с ними в гостиной, посасывая закопченную короткую трубочку, которая при этом хлюпала и булькала; и миссис Эванс, смутная пожилая дама без талии, сплошные вздохи и одышка, решила, что он «чело-

век воспитанный и порядочный». Когда пришло время ложиться спать, Уолтер предложил возглавить общую молитву; и они на это согласились, так как Энни предупредила мать и сестру, что Уолтер «христианин». Когда же он направился в свою комнату, преданная девушка нашла предлог, чтобы выскользнуть за ним, и в коридоре первого этажа раздался звук быстрого поцелуя.

— Только один, — сказала Энни, подняв палец..

— А как же его младший братец? — усмехнулся он. Таким смешком сопровождалась все его шутки: эдакий гортанный смешок, который спускался или застревал в гортани вместо того, чтобы подняться к губам.

— Оставь при себе, — игриво сказала она, погладила его по щеке и побежала вниз.

В ту ночь Уолтер впервые спал в доме миссис Эванс.

В целом он вскоре стал проводить много времени в обществе женщин: театры казались ему отвратительными, и по вечерам он оставался в полутемной гостиной, разделяя семейный ужин из хлеба с сыром и выслушивая вздохи миссис Эванс по поводу ее утраченного положения в мире. Рейчел, вечно молчаливая, шила; Энни, чьи отношения с Уолтером еще оставались в секрете, пусть о них и догадывались, умела играть гимны на стареньком пианино — и играла. В конце вечера Уолтер откладывал свою неизменную мокрую трубку, возглавлял молитву и шел спать. По утрам они с Энни чаще всего вместе отправлялись в Маленькую Британию.

Наступил день, когда он признался Энни в намерении попросить управляющего немного «открутить вентиль», и когда Его Ужасное Величество и вправду пообещало это сделать, радость была на небесах, и радуги озарили будущее, и пошли у них тайные разговоры о кольцах, о свадьбе, о «Доме». Энни почувствовала себя в непосредственной близости от царства Брака и возрадовалась. Но в 13-м номере ничего еще не было сказано вслух: с учетом бывшего величия миссис Эванс тридцать шиллингов в неделю достатком не считались.

В следующее воскресенье, вскоре после обеда, произошло кое-что странное: Рейчел, молчаливая Рейчел, исчезла. Миссис Эванс звала ее, звала и Энни, но оказалось, что Рейчел в доме нет, хотя уборка со стола после обеда, ее обычная обязанность, была брошена на середине.

Рейчел вернулась только к чаю. Она была холодна, несколько угрюма и немного бледна; ее губы плотно сомкнулись на выступающих зубах. Когда Рейчел несмело допросили — ибо все очень боялись вспышки ее негодования — она ответила, что всего лишь навещала Алис Солусби в нескольких кварталах от дома, решив поболтать с подругой. И это была правда.

Однако это была не вся правда; она также заглянула в «Воскресную школу Черч-лейн», и этот факт она виновато скрыла. В течение получаса она мрачно сидела в заднем углу комнаты, слушая «обращение». С обращением выступал Уолтер. Каждое воскресенье, после обеда, он откладывал в сторону свою любимую трубку и отправлялся в эту школу. Собственно говоря, он был ее «руководителем».

После этого тон и характер маленького домашнего сообщества резко изменились, и в сквозь его заурядность начал проступать истинный оттенок ада. Прежде всего, возник вопрос, могло ли случиться, что Рейчел «обратилась к религии», чего ее мать и Энни никак от нее не ожидали. Рейчел обладала сильным и жестким характером и всегда презирала святош и проповедников. Но теперь по воскресным вечерам она стала выходить одна, холодно объясняя, что идет в «молельню». В *какую* именно молельню, она не уточняла; на самом деле, это был Ньютон-стрит-холл, где Уолтер часто увещевал прихожан и «вел молитвы». В классной комнате Черч-лейн вечером по четвергам проводилось молитвенное собрание; и дважды за один месяц Рейчел вышла в четверг вечером — вскоре после Уолтера. Тайную болезнь, чьей добычей сделалась бедная девушка, теперь едва ли можно было скрыть. Вначале она страдала от горького и одинокого стыда; рыдала в сотнях пароксизмов; надеялась утаить свою немощь. Но ее рана была слишком глубока. В долгие субботние летние вечера Уолтер проповедовал

на уличных углах, и Рейчел, иногда скрытно, иногда открыто, посещала эти собрания, смиренно распевая вместе с другими небожественные гимны современного евангелиста. В другие вечера, когда он сидел в гостиной, она тихо шила и почти все время молчала. Когда в семь вечера она слышала, как в замке входной двери поворачивался ключ Уолтера, ее сердце летело к нему; когда он по утрам уходил на работу, ее мир обращался в пепел.

— Прямо удивительно, что в последнее время происходит с нашей Рейчел, — сказала Энни в поезде по дороге домой. — Ты ей, похоже, всю душу перевернул.

Он хихикнул, мокро втянув слюну с корня языка и моляров.

— Ну, не преувеличивай! — сказал он. — С ней все в порядке.

— Я знаю ее лучше, чем ты, понимаешь. Она сильно изменилась — с тех пор, как ты у нас поселился. Похоже, она немного грустит или что-то такое.

— Бедняжка! Ей не хватает заботы, не так ли?

Энни тоже засмеялась: но менее жестоко, с большим беспокойством.

— Она не должна грустить, если вручает свое сердце Господу! Люди, кажется, думают, что христианин должен быть таким и сяким. Христианин, если на то пошло, должен быть самым развеселым парнем!

Это было в четверг, перед вечерним молитвенным собранием на Черч-лейн, и Уолтер еле успел заскочить домой, умыться, схватить свою Библию и уйти. Рейчел, со своей стороны, видимо, теперь действительно сильно страдала любовным помешательством, иначе она бы поняла, что пойти за ним в тот вечер, в третий раз подряд, означало навлечь на себя лишние вопросы. Но это соображение даже не пришло ей в голову: Рейчел была полностью ослеплена и очарована личностью Уолтера. В течение дня, прибираясь в доме, она с нетерпением ждала именно этого момента, и в ту же секунду, когда дверь захлопнулась за ним, она оказалась у зеркала, побледнев и одеваясь в напряженной и трепетной суматохе; и, наводя последние штрихи, она взгля-

нула с горькой ненавистью на выступающую над зубами губу.

В тот вечер она впервые дождалась в молельне конца службы и медленно пошла домой, зная, что Уолтер будет возвращаться той же дорогой; и вот он догнал ее, держа в руке Библию в марокене, в которой почти каждая строка была подчеркнута красными и черными чернилами.

— Как, это вы? — сказал он, взяв в свою ее холодную от пота руку.

— Да, это я, — ответила она жестким церемонным тоном.

— Вы хотите сказать, что были на встрече?

— Да.

— Как, где были мои глаза? Я вас не заметил.

— Маловероятно, что вы хотели меня заметить, мистер Теегер.

— О, прекратите! За кого вы меня принимаете? Я только рад! И я вот что скажу вам, мисс Рейчел, я скажу вам то, что Господь Иисус сказал одному молодому человеку: «Недалеко ты от Царствия Божия».

Она *уже* была там! — рядом с ним, наедине, на темной площади, но все же страдающая, сгорающая в пламени такой неукротимой страсти, что поглощает, возможно, только самые сильные натуры.

Она оперлась на его руку, которую он так и не подумал предложить — и, когда он направил свои шаги прямо к дому, сказала, вся дрожа:

— Я пока не хочу идти домой. Мне хотелось бы немного прогуляться. Вы не возражаете, мистер Теегер?

— Возражаю? Нет. Что ж, пойдёмте.

И она стали гулять по путанице улиц и площадей; он говорил о «Служении» и повседневных вещах. Через полчаса она говорила:

— Мне часто хочется быть мужчиной. Мужчина может говорить и делать то, что ему нравится; но с девушкой все по-другому. Вот вы, мистер Теегер, всегда тут и там, люди вас слушают и тому подобное. Мне часто хочется быть всего лишь мужчиной.

— Ну, знаете, все зависит от того, как вы на это смотрите», — сказал он. — И послушайте-ка, вы можете называть меня Уолтером, так будет проще.

— О, я не стала бы этого делать, — отозвалась она. — До тех пор, пока...

Ее рука дрожала на его руке.

— Ну, говорите же. В чем дело?

— До тех пор, пока мы не узнаем что-то более определенное о вас — и Энни.

Он издал влажный смешок. Теперь она быстро вела его вокруг площади, все вокруг и вокруг.

— Ох уж вы, девушки! — воскликнул он. — Небось, сплетничали, как и все девушки? От вас очень сложно что-нибудь скрыть, правда?

— Но в этом случае особо нечего скрывать, насколько я понимаю, — так ведь?

Уолтер рассмеялся, и смешок, как всегда, застрял у него в горле.

— О, бросьте — это было бы слишком откровенно, не так ли?

После минутного молчания Рейчел произнесла предательскую фразу:

— Энни никого не любит, мистер Теегер.

— О, оставьте — довольно громко сказано, о ком бы ни шла речь. С ней все в порядке.

— Нет, *не в порядке*. Конечно, большинство девушек глупенькие и тому подобное, и им нравится выходить замуж...

— Ну, это только естественно, не так ли?

Это была шутка; и снова смех скатился вниз и застрял в его горле, как комок мокроты.

— Да, но они не понимают, что такое любовь, — сказала Рейчел. — У них нет никакого представления. Им нравится быть замужними женщинами, иметь мужа и тому подобное. Но они не знают, что такое любовь, — поверьте мне! Мужчины тоже не знают.

Как она дрожала! — ее тело, ее умирающий голос — она тяжело опиралась на его руку, и луна, с торжеством выгля-

нувшая теперь из-за облаков, на миг ярко осветила безумие ее призрачного лица.

— Ну, я не знаю, — мне кажется, мисс, я понимаю, что это, — сказал он.

— Не понимаете, мистер Теегер!

— И что же тогда?

— Потому что, когда это овладевает вами, оно заставляет вас...

— Ну хорошо, выкладывайте. Кажется, вы все об этом знаете.

И Рейчел начала рассказывать ему об «этом» — с бешеными определениями и доселе неведомой ей самой силой выражения. *Это* было безумие, и имя ему было Легион, это была одержимость фуриями; это был спазм в горле, трепет рук и ног, и жажда зрачков, и огонь в костях; это была катаlepsия, транс, апокалипсис; это было высоким, как галактика, и низменным, как сточная канава; это был Везувий, северное сияние, закат; это была радуга в выгребной яме, святой Иоанн и Гелиогабал, Беатриче и Мессалина; это было преображение, и проказа, и метемпсихоз, и невроз; это был танец менад, укусы тарантула и солнечное крещение. Она изливала дикие определения в простых словах, но с отчаянием человека, сражающегося за свою жизнь. И она не произнесла и половины, когда он понял все до конца; и как только он понял, он был покорен и погиб.

— Вы же не хотите сказать... — он запнулся.

— Ах, мистер Теегер, — ответила она, — нет слепых хуже невидящих.

Его рука обвилась вокруг ее дрожащего тела.

Говорят, что у каждого свой недостаток; и этот человек, Уолтер, ни в коем случае не человек с крепким умом, в делах любви безусловно склонялся к импульсивности, распушенности и слабости. И эта тенденция только усиливалась благодаря вполне искренней направленности его ума к «духовным предметам», ибо под влиянием внезапного искушения его существо с еще большей пылкостью возвращалось в свое природное русло. В целом, не будь он пуританином, он был бы Дон Жуаном.



Рейчел мигом повисла у него на шее, и он стал страстно ее целовать.

После этого она сказала ему:

— Но ты делаешь это только из жалости, Уолтер. Скажи правду, ты влюблен в Энни?

Он, как Петр, сразу отрекся.

— Это *ты* так говоришь!

— Нет, влюблен, — настаивала она, наполненная блаженством его отречения.

— Ха! Нет. И никогда не был. *Ты* та самая девушка, что

мне нужна.

Вернувшись, они вошли в дом порознь: он первым, она же еще двадцать минут ждала на улице.

Дом был маленьким, и поэтому сестры спали вместе в комнате на втором этаже; Уолтер в задней комнате на втором этаже; миссис Эванс в задней комнате на первом этаже, а передняя комната первого этажа служила «гостиной».

Девушки обычно ложились спать одновременно, и в тот вечер, когда они раздевались, произошла ссора.

Сперва — долгое молчание. Затем Рейчел, чтобы что-то сказать, указала на новые перчатки Энни и спросила:

— Много дала за них?

— Деньги и благодарность, — ответила Энни.

С этого началось.

— Ну, нет необходимости грубить, — сказала Рейчел. Она была счастлива, она была в раю и презирала Энни в тот вечер.

— А все-таки, — сказала Энни, помолчав минут десять перед зеркалом, — а *все-таки*, я никогда не бегала бы так за мужчиной. Я лучше умру.

— Ума не приложу, о чем ты говоришь, — промолвила Рейчел.

— Не притворяйся. Мне было бы *стыдно* за себя, будь я на твоём месте.

— Что ты болтаешь? Маленькая дура.

— Это *ты* дура. Вешаться на человека, который и знать тебя не желает. Как еще ты можешь назвать себя?

Рейчел рассмеялась — счастливо, но угрожающе.

— Не беспокойся, девочка моя, — сказала она.

— Только подумать, каждый вечер выходить на улицу, чтобы попасться мужчине на глаза! Так знай, девочка моя, это отвратительно!

— Правда?

— Ты же не станешь отрицать, что была сегодня вечером с мистером Теегером?

— Нет, не была.

— Врешь! Любой поймет по твоему радостному лицу.

— Ну, предположим, что была, и что из этого?

— А то, что женщина, я считаю, должна быть приличной; женщина должна уметь управлять своими чувствами, а не выставять себя напоказ. Поверь, мне противно думать об этом!

— Вот и не думай, и не ревнуй, моя милая.

Нежная Энни вспыхнула!

— Ревновать? К тебе?!

— Знаешь, для этого нет никакой причины — *пока что*.

— Я не ревную! И причины никогда не будет! Ты считаешь мистера Теегера сумасшедшим? На твоём месте я бы сперва插插插 несколько фальшивых зубов!

Так Энни пала в бездну вульгарности; но она знала, что лишь этим способом сможет добраться до Энни, ткнуть, как раскаленным прутком, в нервный узел ее страданий; и в самом деле, при этих словах лицо Рейчел стало напоминать добела раскаленное железо, и она вскричала:

— Оставь мои зубы! Мужчина смотрит не на зубы! Мужчина смотрит на хорошо сложенную женщину, а не на пухленькую коротышку!

— Спасибо. Ты очень добра, — ответила Энни, испуганная яростью похлеще своей собственной. — Но все же, Рейчел, глупо говорить, что я ревную к тебе. Я знала мистера Теегера за шесть месяцев до тебя. И тебе недолго осталось его знать, потому что я не хочу, чтобы здесь позорили мать, и это для него неподходящее место. Я легко могу уговорить его съехать как можно...

Услышав это, Рейчел взвилась и грозно подняла руку, готовая вцепиться Энни пощечину.

— Только *посмей* заставить его съехать! Я разорву твою маленькую...

Энни заморгала глазами, вздрогнула, всхлипнула: в ней больше не осталось боевого духа.

Так продолжалось две недели. Однако после того вечера враждебность между сестрами настолько усилилась, что Энни перебралась в заднюю комнату первого этажа и спала теперь с миссис Эванс, терявшейся в догадках. Что же до Уолтера, то сердце его было расколото. Он любил Энни; он был очарован и заипнотизирован Рейчел. В другое вре-

мя и в другой стране он женился бы на обеих. Каждый день он приходил к другому решению, не зная, как поступить. Одно было очевидно — без обручального кольца не обойтись, и он купил кольцо, не зная сам, которой из девушек собирается его вручить.

— Послушай, девочка, — сказал он Энни в поезде по дороге домой, — пора с этим кончать. Управляющий, похоже, не торопится откручивать вентиль, так что давай мы просто поженимся, и дело с концом.

— Втайне?

— Ну да. Твоя мама и сестра не должны знать, хотя бы еще какое-то время.

— И ты будешь продолжать жить у нас?

— Ну конечно, пока суть да дело.

Она заглянула ему в лицо и улыбнулась. Все было решено. Но два дня спустя, возвращаясь домой с молитвенного собрания, он встретил Рейчел; поначалу он вел себя искренне и отстраненно; но затем совершил невероятную глупость, поддавшись слабости и отправившись с ней на прогулку по улицам; кончилось тем, что Уолтер получил от нее так же легко дарованное согласие выйти за него — и на тех же условиях, что и в случае Энни.

Когда Уолтер на следующий день вошел в обеденный час в контору регистратора, чтобы подать уведомление о браке, он по-прежнему пребывал в состоянии мучительной нерешительности относительно имени, которое намеревался связать с собственным.

Когда чиновник попросил назвать имя «другой стороны», Уолтер помедлил, переступил с ноги на ногу и ответил:

— Рейчел Эванс.

Только на улице он вспомнил, что «Рейчел» было именем обеих девушек; таким образом, свобода выбора все еще оставалась за ним.

По закону, между «уведомлением» и бракосочетанием должно пройти не менее двадцати одного дня, и Уолтер, хотя и проявил слабохарактерность, сообщив сестрам о своем шаге, был достаточно осторожен, чтобы держать их в неве-

дении относительно точной даты. Между тем, некогда чистая совесть причиняла ему немалые муки, он чувствовал, что барахтается в сетях, боялся говорить с Богом и плыл, точно щепка, по реке случайностей.

И только случайность в конце концов прибила его к берегу. За пять дней до свадьбы наступил неприсутственный день, и он договорился с Рейчел, что они пойдут в этот день в Гайд-парк; она должна была ждать его в два на условленном месте. В два часа дня Рейчел ждала Уолтера на углу, поигрывая своим зонтиком, прохаживаясь туда и сюда и возвращаясь на прежнее место. Но Уолтер не появлялся, и она не могла понять, что произошло. Может быть, они не поняли друг друга или он не заметил ее? Это было невероятно, но больше ей ничего не приходило в голову. В любом случае, в Гайд-парк она отправилась одна, чувствуя себя покинутой, скучая в одиночестве и питая смутную надежду встретить Уолтера там.

Случилось же следующее: Уолтер был на полпути к месту свидания с Рейчел, когда его встретила на улице Энни; та собиралась провести день с замужней подругой в Страуд-Грин, но вернулась, поскольку муж подруги заболел. При виде Уолтера ее лицо осветила улыбка.

— Гарри заболел гриппом, — сказала она, — поэтому я не смогла остаться и развлечь бедную Этель. Куда ты идешь?

Впервые за двенадцать лет, прошедших со дня его «обращения», Уолтер, сильно покраснев, сознательно солгал.

— Просто иду в школу, — сказал он, — посмотреть, как там дела.

— Ну, я открыта для предложений, если какой-нибудь добрый друг будет так добр, — ласково сказала она.

В то утро Уолтер поклялся себе, что женится на Рейчел, и этому обету он поклялся теперь следовать. Тем более была причина в последний раз «погулять» с Энни.

— Тогда давай, старушка, — весело произнес он. — Куда мы пойдем?

— Давай пойдем в Гайд-парк, — сказала Энни. И они пошли в Гайд-парк, причем Уолтер то и дело ощущал укоры совести при горьком воспоминании о напрасно ожидав-

шей его Рейчел.

В пять часов они шли по северному берегу Серпентина на запад, по направлению к двухарочному мосту, третья узкая арка которого перекинута над берегом; под этой узкой



аркой они собирались укрыться, так как начало моросить, и в этот момент Рейчел, наделенная очень острым зрением, заметила их с южного берега. Она сразу же пришла в бешенство. Энни должна была находиться у подруги в Страуд-Грин! *Какое предательство!* Так вот почему... Она, задыхаясь, побежала по берегу к мосту, затем по мосту на север,

и тут услышала — те двое стояли под аркой и обсуждали... свадьбу. К несчастью, выступавший блок каменной кладки мешал Рейчел наклониться прямо над аркой. Тогда она отбежала в сторону и наклонилась над парапетом, свесившись наружу и вбок, ближе к арке, напрягая шею, тело, слух — и любой, кто посмотрел бы в ту минуту в ее расширенные глаза, тотчас бы понял смысл учения о Варварской Душе. Но она была в невыгодном положении, слышала только негромкие голоса и — что это было, поцелуй? Она перегибалась все сильнее, наклонялась все дальше. И вдруг она с криком упала в воду, там, где у берега было совсем неглубоко. В падении Рейчел ударилась головой о покрытый грязью камень.

В течение трех дней она не переставала выкрикивала имя Уолтера, называя его только своим и оглашая криком всю улицу. На третью ночь, в разгар страшных воплей, она внезапно умерла.

— О, Рейчел, не говори, что ты мертва! — воскликнула Энни, склонившись над ней.

Смерть наступила за два дня до дня свадьбы, и на следующий день Уолтер, заметно потрясенный происшедшим, сказал Энни:

— Это, конечно, удар по нашему маленькому плану.

Энни молчала. Затем, надув губы, она сказала:

— Я не понимаю, почему. В конце концов, это целиком ее вина. Почему же мы должны страдать?

Вражда между сестрами стала жестокой, как смерть, и пережила смерть: когда дело касалось Рейчел и Уолтера, Энни превращалась из нежной девушки в мраморную статую, не знавшую уважения или жалости.

И вот, несмотря на трепет и нерешительность Уолтера, брак состоялся в то самое время, когда тело Рейчел лежало на кровати на втором этаже № 13.

Церемония, однако, не обошлась без заминки и дурной приметы. Прежде всего, Уолтеру необходимо было предупредить Энни о том, что в уведомлении ее имя было записано с его слов как «Рейчел»; это дикое объяснение чуть не привело к разрыву, и только пылкие мольбы Уолтера помог-

ли его избежать. Как бы то ни было, в конечном счете он женился на «Рейчел», а не на «Энни».

После церемонии, проведенной в обеденное время, они вместе вернулись на работу в Малую Британию.

В десять часов того же вечера, когда Уолтер отправился спать, Энни выскочила за ним, и в коридоре они тайком и надолго слились в поцелуе — их последнем поцелуе на земле.

— В двенадцать? — волнуясь, прошептал он.

Она подняла указательный палец.

— В час!

— О, скажи — в двенадцать!

Энни не ответила, но игриво провела ладонью по его щеке, что означало согласие, ибо миссис Эванс спала обычно беспробудным сном. Он пошел наверх. Предусмотрительно оставив свою дверь немного приоткрытой, он погасил свечу и лег в постель. В соседней комнате, белея в темноте — с усталыми, навечно смеженными веками и дремлющим лицом — лежала покойница.

Уолтер не мог не думать об этом соседстве. «Бедняжка! — вздохнул он. — Бедная Рейчел! Ну, что поделаешь. В конце концов, пути Его как море, и тропы его в Великих Глубинах, и шаги Его неисповедимы». Затем он подумал об Энни — своей маленькой женушке! Но вместо Энни перед ним возник образ Рейчел. Две женщины яростно сражались в его мыслях — и мертвая одолевала живую... Вместо Энни была Рейчел — и снова Рейчел.

Наконец он услышал двенадцатый удар с башни и сел на кровати, с нетерпением ожидая, когда откроется дверь или зазвучат шаги по полу.

В комнате тикали маленькие американские часы, и в каминном дымоходе раздавались шорохи и едва слышное пение ветра.

Внезапно она оказалась рядом с ним, заполнив собой всю комнату — из ниоткуда. Он не слышал ни шагов, ни скрипа двери: и тем не менее, она без сомнения оказалась *теперь* с ним, внезапно, близко, над ним, говоря с ним, задыхаясь.



Его первым ощущением было содрогание; дрожь, как прикосновение русского мороза, сотрясла его тело с ног до головы. Она держала его за плечи; затем растянулась на кровати над ним; и комната казалась полной шорохов и шелеста, очень странного — словно бурный ветер развеивал накрахмаленный муслин. И она говорила с ним с *бездыханной быстротой*, стенавая тайной тарабарщиной, скулящей, как щенок в ожидании ласки — о любви и ее определениях, и о душе, и о червях, и о Вечности, и о страсти в смерти, и о венчании в могиле, и о вожделении в великой пустоте. И он тоже заговорил, шепча сквозь стучащие зубы: «Ш-ш-ш, Рейчел — я хотел сказать, Энни — тише, моя девочка, твоя мама услышит! Рейчел, не надо — ш-ш-ш!» Продолжая шептать свое «ш-ш-ш, моя милая — ш-ш-ш!», он ощущал вторжение странной ярости такой силы, как будто в него вливалась энергия какой-то колоссальной всемогущей сущности. Он едва различал фигуру над собой, в комнате было темно, но чувствовал, как одежда стекала с ее шеи в непрерывном трепетании, с шелестом тысяч накрахмаленных саванов, подобным шуршанию флага на ветру; и трепещущие покровы то раздувались, заполняя комнату, то вновь уменьшались до размеров женского тела. И эта рапсодия любви и смерти все продолжалась под шепот Уолтера: «Ш-ш-ш, Рейчел — я хотел сказать, Энни», продолжалась до тех пор, пока он не ощутил обьятие *столь* ужасное, натиск мощи *столь* невыносимой, что душа обмерла внутри него. Он откинулся назад; мысль пролетела и канула во тьме под чары этой колыбельной; он пробормотал: «Прими дух мой...»

Через два дня Уолтер, не приходя в сознание, скончался. Его изуродованное тело опустили в могилу неподалеку от могилы Рейчел.

Примечания

Бледная обезьяна

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 7. *Ни дать, ни взять, как у свиньи* — Аристофан, *Осы*.

С. 11. ...*Пепи II... Хети... Сети I* — древнеегипетские фараоны различных династий и исторических эпох.

С. 12. ...*Хуфу, Хефрене* — Хуфу, он же Хеопс, и Хефрен (Хафра) — фараоны IV династии; им принадлежат две пирамиды из знаменитого комплекса пирамид в Гизе.

С. 15. ...*кассоне... жирандоли* — Кассоне — во времена Возрождения декорированный резьбой или инкрустациями сундук для приданого невесты, шире — большой расписной и резной сундук; жирандоли — фигурные канделябры.

История Генри и Ровены

Рассказ вошел в сб. *Here Comes the Lady* (1928).

С. 22. ...*Мета Суданс* — букв. «потеющая мета», монументальный конический фонтан близ Колизея в Древнем Риме. В описываемое время еще сохранились руины фонтана, разрушенные в 1930-х гг. при постройке транспортной развязки вокруг Колизея; основание фонтана, раскопанное в 1990-х гг., ныне находится в пешеходной зоне.

С. 22. ...*barberi u moccoletti* — традиционные развлечения во время римского карнавала, соответственно, скачка лошадей без всадников по Корсо и шуточная битва масок, во время которой участники старались потушить друг у друга горящие свечи-моккеити (подробно описана в *Графе Монте-Кристо* А. Дюма).

С. 23. ...*вомитория* — Вомитории — в Колизее арочные проходы под трибунами для входа и эвакуации зрителей.

С. 23. ...*Россетти* — Д. Г. Россетти (1828-1882) — английский художник, поэт, переводчик и иллюстратор, один из основателей Братства прерафаэлитов.

С. 25. ...*кальпаке* — Кальпак — высокая войлочная или овчинная мужская шапка в Турции, на Кавказе, Бл. Востоке и т.д.

С. 26. ...*так Саул... царство* — см. I Цар. 1.

С. 27. ...*озера Цана* — устаревшее название оз. Тана в Эфиопии.

С. 27. *Una lonza leggiера ... mac...* — «Проворная и выющаяся рысь, / Вся в ярких пятнах пестрого узора» (Данте, *Ад*, песнь I. Пер. М. Лозинского). Использованное у Данте «*lonza*» чаще всего интерпретируется именно как леопард.

С. 32. ...*Пуны* — Пуна — город в Индии в современном штате Махараштра.

Жена Югенена

Впервые: *The Pall Mall Magazine*, 1895, апрель. Позднее с некоторыми сокращениями и добавлением эпиграфа из «Ламии» Д. Китса («Ah! Bitter-sweet!»*) в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911). Переведено по первому изд.

С. 34. *Югенена* — Возможно, в выборе имени/фамилии героя (*Huguenin*) сказался весьма известный в истории ведовства случай некоего Югенена де ла Меу и его жены Жанны, живших в середине XV в. в нормандской деревне Торси. Супруги, в

* Не переданный в известных русских переводах поэмы Китса (1819) фрагмент описания Ламии: «Her head was serpent, but ah, bitter-sweet!», букв. «Глава ее была змеиной, но ах! столь горько-нежной».

особенности жена Югенена, как до нее его отец, подозревались в колдовстве и были объектом преследования соседей-крестьян.

С. 34. ...*boulevardier... persifleur* — фланер (бульвардьё), насмешник (фр.).

С. 34. ...*Делос, священный остров, где родился Аполлон, сын Лето!* — Здесь и далее в тексте обыгрывается мифологическая история о Делос (Дилос). Соблазненная Зевсом титанида Лето навлекла на себя гнев ревливой жены громовержца Геры, за противившей земной тверди предоставлять ей место для родов. После долгих скитаний Лето обратилась за помощью к пловучему о. Делос, обещая в награду обогатить остров и прославить его храмом нового бога, а затем родила на острове Аполлона и Артемиду. Когда Лето разрешалась от бремени, Зевс прикрепил остров к морскому дну цепями или колоннами, сделав его неподвижным.

С. 34 ...*Кинта... Киклад* — Кинт (Кинф) — гора на Делосе, Киклады — островной архипелаг, окружающий Делос.

С. 34. ...*приношения... божественных посланниц...* «*песни избавления*» — Шил намекает на одну из версий мифа о Лето, по кот. титанида, окруженная сочувствующими богинями, долго мучилась в родовых схватках; дочь Зевса и Геры, богиня-родовспомогательница Илифия, согласилась помочь ей вопреки воле матери и в обмен на дары других богинь. «Песни избавления» — библейское выражение, взятое из английского перевода Пс. 31/32:7.

С. 36. ...*аула... таламосов* — Аула — открытый двор в греческом доме, таламос — внутреннее помещение.

С. 36. ...*Зевса Геркейоса* — т. е. Зевса в ипостаси покровителя оград и домашнего очага, от гр. *herkos* — забор, ограда.

С. 37. ...*Ламия Китса... злата* — В рассказе Шил использует мотивы поэмы Китса, у кот. Ламия, превращенная в прекрасную женщину, разоблачается как чудовище, что приводит к гибели ее жениха. Цитата дана в пер. С. Александровского.

С. 37 ...*Апеллеса* — Апеллес — Знаменитый древнегреческий художник IV в. д. н. э.

С. 39. ...«дыханием Чейна—Стокса» — Речь идет о типе аномального дыхания, описанном в XIX в. медиками Д. Чейном и У. Стоксом.

С. 39. ...*Ортигии* — здесь на Лето переносится старинное название Делоса (Ортигия).

С. 41. ...*Гипатии* — Гипатия (Ипатия, 350/370-415) — выдающаяся женщина-ученый эллинистического мира, философ, математик, астроном, жившая в Александрии. Выступала как защитница язычества и, обвиненная в колдовстве, была растерзана толпой христианских фанатиков.

С. 46. ...*Ринию* — Риния — один из кикладских островов к западу от Делоса.

С. 47. ...*Тофета* — Тофет — в Библии место в Иерусалиме, где идолопоклонники приносили детей в жертву Молоху и Ваалу; в переносном значении ад, преисподняя.

С. 49. ...*кобылицами Диомеда* — Кобылицы Диомеда — в древнегреческой мифологии кобылицы-людоеды фракийского царя Диомеда, похищенные Гераклом.

Тулса

Рассказ вошел в сб. *Shapes in the Fire* (1896).

Тулса содержит большое количество нарочито архаизированных или искаженных имен, понятий и описаний религиозных представлений; за невозможностью сплошного комментирования некоторые оставлены нами без объяснений. Следует отметить, что основными источниками Шила были, судя по всему, сочинение *Айн-и-Акбари* Абу-ль-Фадля ибн Мубарака Аллами, историографа и визиря Великого Могола (XVI в.), переведенное на английские в конце XVIII в. как *Ayeen Akbery or The Institutes of the Emperor Akber*, и опирающиеся на него труды, напр. *Continental India* Д. У. Масси (1840), откуда и почерпнуто, похоже, имя «Тулса»; ниже они использованы для истолкования ряда понятий.

С. 51. ...*мукут* — согласно *Ayteen Akbery*, состояние растворения в Божестве.

С. 53. ...*йоуга* — ср. там же с отсылкой к Патанджали: «*Мукут* может быть достигнут только посредством *Йоуга* или полной победы над страстями». Следует упомянуть о многолетнем увлечении Шила йогой.

С. 53. ...*йати* — в джайнизме и ряде других традиций монах-аскет.

С. 53. ...*Шафры* — так в тексте; вероятно, имеется в виду Хафра или Хефрен (см. выше).

С. 54. ...*сабеизма* — Сабеизм — поклонение звездам и обожествление небесных светил.

С. 55. ...*Йокайя... ничем* — прямая цитата из *Ayteen Akber*.

С. 57. ...*сати* — в индуизме похоронный ритуал, предполагающий сожжение вдовы вместе с телом супруга на погребальном костре; ныне запрещен.

С. 58. ...*зенане* — Зенана — в Индии часть дома, отведенная для женщин.

С. 60. ...*сардия* — Сардий — камень, упоминаемый в Библии (напр. Исх. 28:17 в церковнославянской версии) и др. источниках как одно из украшений наперсника иудейского первосвященника; чаще всего понимается как рубин или сердолик.

С. 64. ...*Ахеронта* — Ахеронт — в древнегреческой мифологии общее название подземного мира и конкретно река в царстве мертвых.

С. 65. *Саранью* — в древнеиндийской мифологии жена солнечного божества Вивасвата и мать божественных близнецов Ашвинов; со второй половины XIX в. различными учеными, на основе этимологических соображений, отождествлялась с древнегреческими эриниями.

Великий царь

Рассказ вошел в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 68. *Бельфегор... демоном* — отсылка к новелле Н. Макиавелли (1469-1527) *Черт, который женился* (1518), где Бельфегор (Бальфагор) описан как «архидемон».

С. 69. ...*нению* — от лат. *nenia*, погребальная песнь.

С. 71. *Ваиезафа* — в Библии имя одного из сыновей злокозненного Амана (Есф. 9:9).

С. 74. ...*Зереш* — имя жены Амана в библейской книге Есфирь.

С. 75. ...«*резьба таинственная... сфинкс*» — цит. из поэмы П. Б. Шелли *Аластор, или Дух одиночества* (первое изд. 1816, пер. В. Микушевича).

С. 78. *И он был отлучен...небесной* — парафраз Дан. 4:22.

Невеста

Впервые: *The English Illustrated Magazine*, 1902, апрель-сентябрь; позднее в сб. *The Pale Ape and Other Pulses* (1911).

С. 80. *Не видать... молоком* — Иов 20:17.

С. 80. ...*Маленькой Британии* — Маленькая Британия — исторический район Лондона, включающий одноименную улицу.

С. 84. ...*в поезде* — имеется в виду поезд лондонской подземной железной дороги.

С. 92. *Серпентина* — Серпентин — искусственное озеро в лондонском Гайд-парке, созданное в 1730 г.

Оглавление

Бледная обезьяна	6
История Генри и Ровены	21
Жена Югенена	33
Тулса	50
Великий царь	67
Невеста	79
П р и м е ч а н и я	98

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.